

Оноре де Бальзак

Второй силуэт женщины

Леону Гозлану[1] в знак доброго литературного содружества.

В Париже балы и рауты обычно заключают в себе два рода званого вечера. Первый — официальный, на нем присутствуют приглашенные, общество изысканное, скучающее. Тут каждый рисуется перед соседом. Большинство молодых женщин приезжает ради кого-нибудь одного. После того как каждая из них убедится в том, что в глазах избранника она прекраснее всех и что мнение это разделяется еще некоторыми гостями; после того как собравшиеся перекинутся пустыми фразами вроде таких: «Когда вы собираетесь в Крампаду[2]?» — «Как прелестно пела госпожа де Портандюэр[3]!» — «Кто эта маленькая женщина, вся в бриллиантах?» — или бросят несколько язвительных замечаний, одним доставляющих мимолетное удовольствие, а других глубоко ранящих, — группы приглашенных постепенно редуют, посторонние разъезжаются, свечи догорают в розетках. Тогда хозяйка дома удерживает несколько артистов, весельчаков, друзей, говоря: «Оставайтесь. Мы поужинаем в тесном кругу». Все собираются в маленькой гостиной. Начинается второй и уже настоящий званый вечер, где, как в прежние времена, каждый внимателен друг к другу. Беседа становится общей, тут поневоле делаешься остроумным и принимаешь участие в общем оживлении; все выступает ярче, чванливость, которая в обществе иной раз омрачает и самые прекрасные лица, сменяется искренним смехом. Словом, веселье начинается только после того, как кончится раут. Раут, этот надменный парад роскоши, этот церемониальный марш самомнения, является одною из тех английских выдумок, которые стремятся обратить в машину и другие нации. Англия хочет, чтобы весь мир скучал, как она, и не меньше, чем она. Таким образом, в некоторых домах Франции этот второй вечер выливается в радостный протест былого духа нашей жизнерадостной страны. Но, к сожалению, мало кто протестует, и причина этому проста: званые ужины стали теперь редки потому, что ни при каком режиме не бывало так мало людей обеспеченных, утвердившихся и достигших прочного положения, как в царствование Луи-Филиппа, когда революция возродилась легально. Все стремятся к какой-нибудь цели или торопятся разбогатеть. Время, говорят, теперь стало дороже денег, и никто не имеет возможности с чудесной расточительностью тратить его, возвращаясь домой под утро и вставая за полдень. Поэтому поздние ужины бывают лишь у женщин богатых, которым под силу иметь открытый дом. С июля 1830 года такие женщины в Париже наперечет. Несмотря на молчаливую оппозицию Сен-Жерменского предместья, две-три женщины — среди них маркиза д'Эспар и мадемуазель де Туш[4] — не пожелали отказаться от влияния, которое они оказывали на парижское светское общество, и не закрыли своих салонов.

Салон мадемуазель де Туш, столь известный в Париже, — последнее убежище, где нашло приют старинное французское остроумие с его скрытой глубиной, с тысячью его уловок и изысканной учтивостью. Там вы еще можете встретить утонченное обхождение, невзирая на условность манер; можете услышать непринужденный разговор, вопреки сдержанности, присущей людям хорошо воспитанным, а главное, — там вы найдете богатство мыслей. Там никто не думает приберечь какую-нибудь свою идею для драмы; никто, слушая рассказ, не намеревается создать из него книгу. Одним словом, там перед вами не возникает поминутно отвратительный скелет литературы, подстерегающей случайную добычу — удачную

остроумную фразу или занимательный сюжет. Воспоминание об одном из таких званых вечеров крепко врезалось мне в память, — причина тому откровенные признания знаменитого де Марсе[5], в которых он вскрыл тогда один из самых сложных тайников женского сердца, а главное, вызванный его рассказом обмен мнением о переменах, происшедших во французской женщине со времени злополучной Июльской революции.

На этом вечере случайно собралось несколько человек, стяжавших неоспоримыми заслугами европейскую славу. Это не лесть по отношению к Франции, — среди нас находилось и несколько иностранцев. Впрочем, более всего блистали в разговоре люди не самые знаменитые. Находчивые реплики, тонкие замечания, прелестные шутки, образы, очерченные с поразительной четкостью, рождались как будто произвольно, расточались пренебрежительно, но без снобизма. Их тонко понимали и тонко оценивали. Люди светские вносили в беседу изящество и совершенно художественное вдохновение. Вы можете и в других странах Европы встретить изящные манеры, приветливость, добродушие и образованность; но только в Париже, только в этом салоне и в тех, о которых я только что упоминал, вы найдете тот особый ум, который придает всем этим качествам приятное и причудливое единство. Не знаю, что за подводное течение так легко управляет этим потоком мыслей, афоризмов, рассказов, исторических справок. Париж — город изысканного вкуса, ему одному ведома наука превращать банальный разговор в словесный турнир, где в метком слове сквозит природный склад характера, где каждый высказывает свое мнение, в брошенной реплике делится опытом, где все веселятся, отдыхают и изощряются в остроумии. И только здесь вы действительно обмениваетесь мыслями, а не принимаете обезьяну за человека, как дельфин в известной басне[6]; здесь вас поймут, и вы не рискуете, поставив ставку золотом, выиграть ломаный грош. Здесь, наконец, коварная откровенность, легкая болтовня и глубокие наблюдения сливаются в живой разговор, который струится, кружится, прихотливо меняет течение и оттенки при каждой фразе. Оживленная критика, рассуждения и сжатые рассказы сменяют друг друга. Здесь говорят и слушают, вопрошают взглядом и на лице читают ответ. Словом, здесь во всем блещет ум, все полно мысли. Никогда еще меня так не пленяла сила[7] удачно задуманного и умело примененного слова, этого орудия актера и повествователя. И не я один подпал под власть этого волшебства, — мы все провели прелестный вечер. Беседа, превратившаяся в повествование, повлекла за собой любопытные признания, наброски портретов, картины безрассудств; эту восхитительную импровизацию, полную естественности, свежести, прихотливости и лукавства, передать невозможно. Но, быть может, вы хоть отчасти поймете очарование настоящего французского званого вечера — в тот его момент, когда самая приятная непринужденность заставляет каждого забыть о своих корыстных интересах, о честолюбии или, если вам угодно, о своих притязаниях.

Около двух часов ночи, когда ужин подходил к концу, за столом оставались только самые близкие знакомые, испытанные пятнадцатью годами дружбы, или люди хорошего вкуса, прекрасно воспитанные, знающие свет. По молчаливому и строго соблюдаемому соглашению всякий в этом доме во время ужина отрекается от своих личных заслуг. Царит полное равенство. Впрочем, здесь собрались люди, из которых каждый мог гордиться собою. Г-жа д'Эспар всегда просит своих гостей не вставать из-за стола, она замечала не раз, что перемена места расхолаживает общее настроение. Переход из столовой в гостиную нарушает очарование. По словам Стерна[8], мысли писателя, после того как он побрился, отличаются от тех, какие были у него до бритья. Если Стерн прав, то можно смело утверждать, что расположение духа людей, сидящих за столом, иное, чем у людей, вернувшихся в гостиную. Исчезла опьяняющая атмосфера, перед вами уже нет живописного беспорядка десерта, утрачено преимущество той снисходительности, той благожелательности, которые овладевают нами, когда мы находимся в настроении, присущем человеку сытому, удобно расположившемуся на одном из тех мягких стульев, какие теперь так хорошо делают. Пожалуй, мы охотнее всего беседуем за десертом, наслаждаясь превосходным вином и пользуясь вольностью, разрешающей облокотиться на стол и

подпереть голову рукою. В такие минуты каждый любит не только поговорить, но и послушать. Сытый человек бывает, сообразно с характером, или болтлив, или молчалив. Каждый тогда выбирает, что ему приятнее. Это вступление было необходимо, чтобы подготовить вас к обаянию того рассказа, где знаменитый человек, ныне покойный, обрисовал невинное коварство женщины, выказав при этом тонкое лукавство, — эта черта свойственна людям, много выдавшим, и она делает государственных мужей великолепными рассказчиками, если только они, как князь Талейран[9] или Меттерних[10], снисходят до рассказов.

Де Марсе, назначенный полгода назад премьер-министром, уже успел проявить свои выдающиеся дарования. Те, кто знали его давно, не были удивлены, что он обнаружил таланты и многообразные способности государственного деятеля, — но многих занимала мысль, были ли они результатом сноровки, долгой выучки или открылись в нем неожиданно, в ходе каких-нибудь обстоятельств. Такой вопрос, — разумеется, с философской точки зрения, — и задал ему один умный и наблюдательный человек, бывший журналист, которого он назначил префектом; этот человек восхищался г-ном де Марсе, не примешивая к своему восхищению ни капли едкой критики, которая в Париже оправдывает в глазах выдающихся людей их восхищение другими выдающимися людьми.

— Был ли в вашей жизни случай, мысль, желание, подсказавшие вам ваше призвание? — спросил Эмиль Блонде[11]. — Ведь у всех нас, как у Ньютона, есть свое яблоко, которое, падая, указывает нам, на какой почве разовьются наши способности.

— Да, был, — ответил де Марсе, — и я сейчас расскажу вам об этом.

Красавицы, политические денди, художники, старики, близкие друзья де Марсе — все уселись поудобнее, каждый, как привык, и сосредоточили внимание на премьер-министре. Слуг в комнате уже, конечно, не было, двери были закрыты и портьеры задернуты. Воцарилась такая тишина, что со двора доносился говор кучеров и удары копыт — лошади рвались к себе в конюшни.

— Положение государственного деятеля, друзья мои, поддерживается лишь одним качеством, — сказал министр, играя золотым с перламутром ножом, — он всегда должен уметь владеть собой, учитывать любой исход, каким бы неожиданным он ни был для него, одним словом, он должен таить в себе существо холодное и бесстрастное, которое в качестве зрителя присутствует при всех тревогах его жизни, при его страстях, переживаниях и подсказывает ему по поводу всего приговор, почерпнутый из некоей таблицы моральных вычислений.

— Вы объясняете этим, почему во Франции так редки государственные мужи, — заметил старый лорд Дэдлей.

— С точки зрения чувств это ужасно, — вновь заговорил министр. — Ужасно, если нечто подобное проявляется у молодого человека. (Ришелье, предупрежденный накануне письмом об опасности, грозящей Кончини[12], спал до полудня, хотя знал, что в десять часов утра должны убить его благодетеля.) Такой молодой человек, будь он Питтом[13] или Наполеоном, — явление чудовищное. Я таким чудовищем сделался очень рано, и благодаря женщине.

— А я думала, — сказала г-жа де Монкорне улыбаясь, — что мы, женщины, чаще портим политических деятелей, чем способствуем их появлению.

— Чудовище, о котором идет речь, потому только и чудовище, что сопротивляется вам, — сказал рассказчик, иронически поклонившись.

— Если речь идет о любовном приключении, то прошу не прерывать рассказчика никакими рассуждениями, — сказала баронесса де Нусинген.

— Рассуждения в любви неуместны! — воскликнул Жозеф Бридо[14].

— Мне было семнадцать лет, — продолжал де Марсе, — Реставрация упрочилась; мои старые друзья знают, каким я был в ту пору пылким и страстным. Я любил впервые и теперь могу признаться, что я был одним из самых красивых молодых людей в Париже. Красота и молодость — два случайных преимущества, которыми мы гордимся, словно победой. О прочем я вынужден молчать. Как большинство юношей, я был влюблен в женщину старше меня, — на шесть лет. Никто из вас, — сказал он, оглядывая сидящих за столом, — не подозревает ее имени и не узнает его. В ту пору Ронкероль[15] был единственным человеком, проникшим в мою тайну, но он честно сохранил ее. Я несколько побаивался его усмешки, но он ушел, — сказал министр, оглядываясь кругом.

— Он не захотел остаться ужинать, — сказала г-жа де Серизи.

— Целых полгода я был одержим любовью и не понимал, что эта страсть господствует надо мной, — продолжал премьер-министр, — я весь отдавался восторженному поклонению, ведь в нем и торжество и хрупкое счастье юности. Я хранил ее старые перчатки; словно вином, упивался ароматом цветов, которыми она украшала себя; вставал по ночам, чтобы взглянуть на ее окна. Вся кровь прилиwała мне к сердцу, когда я вдыхал запах духов, которыми она душилась. Я был далек от мысли, что пылкие, как огонь, женщины таят в груди черствое сердце.

— О, избавьте нас от ваших ужасных сентенций! — улыбнувшись, сказала г-жа де Кан.

— Мне кажется, в ту пору я испепелил бы презрением философа, который высказал эту страшную и глубоко правдивую мысль, — заметил де Марсе. — Все вы люди проникательные, и мне нет надобности развивать ее. То, что я сказал, напечалит вас ваши собственные безрассудства. Моим кумиром была знатная дама из самого высшего общества, и вдобавок бездетная вдова (о, тут все сочеталось!). Ради меня она уединялась в своих покоях, чтобы вышивать на моем белье метки из своих волос. Одним словом, на мои безумства она отвечала безумствами. Как же не поверить страсти, если она подтверждается безумствами? Мы приложили все старание, чтобы скрыть от света нашу любовь, такую полную, такую дивную. Нам это удалось. И какое очарование таилось в наших похождениях! Об этой женщине я не скажу вам ни слова. Она была в ту пору безупречно красивой и долго еще считалась одной из самых прекрасных женщин Парижа. А тогда за один ее взгляд многие готовы были пожертвовать жизнью. Ее материальное положение было вполне удовлетворительно для женщины влюбленной и обожаемой, однако оно не соответствовало ее знатному имени и тому блеску, которым она была обязана Реставрации. Я был настолько самоуверен, что не питал относительно нее никаких подозрений. Хотя я и был ревнив, как сто двадцать Отелло, это ужасное чувство дремало во мне, как золото в самородке. Я велел бы своему слуге отколотить меня палкой, если бы во мне зародилась хоть тень подлого сомнения в чистоте этого ангела, такого хрупкого и такого сильного душой, такого белокурого и наивного, невинного и чистосердечного, чьи голубые глаза с такой прелестной покорностью позволяли моему взору проникать в глубь ее сердца. Никогда никакой фальши в позе, во взгляде или в слове. Всегда беленькая, свежая, всегда готовая ответить на ласку возлюбленного, как лилия Востока из «Песни песней»! Ах, друзья мои, — горестно воскликнул министр, вновь превращаясь в юношу, — нужно очень сильно удариться головой и набить себе шишку, чтобы рассеялась эта поэзия!

Этот искренний вопль души нашел отклик среди гостей и еще сильнее подстрекнул их любопытство, уже и без того искусно возбужденное рассказчиком.

— Каждое утро, оседлав великолепного скакуна Султана, которого вы прислали мне из Англии[16], — сказал он, повернувшись к лорду Дэдлею, — я гарцевал на нем около ее коляски. Экипаж нарочно ехал шагом, и букет, который она держала в руках, служил

условным знаком, на тот случай, если нам не удастся наскоро обменяться словами. Мы почти каждый вечер встречались в свете, и она ежедневно писала мне, но, чтобы опровергнуть малейшие подозрения и обмануть наблюдавших за нами, мы выработали особый образ действий. Не смотреть друг на друга, избегать друг друга, говорить друг о друге дурное, слишком откровенно любоваться и расхваливать друг друга, или прикидываться отвергнутым, — все эти старые уловки ничего не стоят! Гораздо лучше выказывать притворную страсть к какой-нибудь безразличной тебе особе и учтивое равнодушие к твоему кумиру. Если двое любовников станут играть а эту игру, свет всегда будет одурачен ими. Но они должны быть очень уверены друг в друге. Она в качестве ширмы избрала сановника, бывшего тогда в милости при дворе, человека очень сдержанного и набожного. У себя она никогда его не принимала. Комедия разыгрывалась для простаков в светских гостиных, где ее находили забавной. Между нами не было разговоров о браке. Шесть лет разницы могли тревожить ее, о моем состоянии ей ничего не было известно, — я всегда умалчивал о нем из принципа. Что же касается меня, то я был очарован ее умом, ее манерами, ее образованностью, знанием света и не колеблясь женился бы на ней. Однако ее сдержанность нравилась мне. Если бы она первая заговорила со мной о браке, то, может быть, эта утонченная женщина показалась бы мне вульгарной. Полгода полного, безоблачного счастья, бриллиант чистой воды — вот доля любви, predeterminedенная мне судьбой в этом бренном мире. Однажды утром, страдая ломотой во всем теле, предвещающей простуду и лихорадку, я написал ей записку, прося перенести на другой день один из наших тайных праздников, которые, как жемчужины в море, скрыты от глаз под кровлями Парижа. Отправив письмо, я стал терзаться раскаянием. «Она не поверит, что я болен!» — подумал я. Надо вам сказать, что она притворялась ревнивой и подозрительной. Если вы действительно ревнуете — значит любите по-настоящему, — добавил де Марсе.

— Почему? — быстро спросила княгиня де Кадиньян.

— Истинная и единственная любовь порождает физическое равновесие, вполне соответствующее тому созерцательному состоянию, в которое впадаешь. Тогда разум все усложняет, работает самостоятельно, измышляет фантастические терзания и придает им реальность. Такая ревность столь же прекрасна, сколь стеснительна.

Иностраннный посол улыбнулся какому-то своему воспоминанию, подтвердившему справедливость этого замечания.

— «Кроме того, говорил я себе, зачем терять минуты счастья? — продолжал рассказ де Марсе. — Не лучше ли поехать на свидание даже больным? Узнав, что я болен, она, конечно, способна приехать ко мне и может себя скомпрометировать». Сделав над собой усилие, я пишу ей второе письмо и везу его сам, так как мой доверенный слуга уже ушел. Нас разделяла река, и мне надо было пересечь весь Париж. Наконец на довольно значительном расстоянии от ее особняка я заметил рассыльного и поручил ему тотчас же отнести письмо. У меня явилась счастливая мысль проехать мимо ее дома, чтобы удостовериться, не получила ли она оба письма одновременно. Когда я подъезжал, в два часа дня, ворота ее особняка распахнулись и впустили экипаж... Чей же он был? Того, кто играл роль ее подставного возлюбленного! Это произошло пятнадцать лет назад, но и сейчас еще, говоря об этом, я, выдохшийся оратор, зачерстневший от государственных дел министр, чувствую, как сжимается мое сердце и мне становится душно. Спустя час я вновь проезжаю мимо ее дома. Экипаж еще во дворе. Вероятно, мое письмо лежало у швейцара. Наконец в половине четвертого экипаж отъехал. Мне удалось разглядеть лицо моего соперника: оно было надменно, он не улыбался, но он был влюблен, это было ясно, и, конечно, они говорили о каком-то важном деле. Я отправился на свидание. Владычица моего сердца тоже пришла, была спокойна, невинна, безмятежна. Тут я должен вам признаться, что всегда находил Отелло не только безумцем, но и человеком дурного тона. Только мавр может вести себя подобным образом. Это чувствовал и сам Шекспир, озаглавивший свою пьесу «Венецианский Мавр». Встреча с любимой женщиной таит в себе нечто, исцеляющее сердце, — сразу

улетучиваются все муки, сомнения, горести. Мой гнев остыл, я снова улыбался. И так, сдержанность и спокойствие, которые теперь, в мои годы, могли бы оказаться страшным притворством, были просто следствием моей молодости и любви. Совладав со своей ревностью, я нашел в себе силы наблюдать. Но было заметно, что я нездоров, а терзавшие меня страшные сомнения еще способствовали этому впечатлению. Наконец я нашел случай и как бы невзначай спросил: «У вас сегодня никого не было?» — и в объяснение своего вопроса сказал, как я беспокоился, что она, получив мою записку, посвятит этот день приему гостей.

— Ах, — воскликнула она, — только у мужчины может возникнуть такая мысль! Как могла я думать о чем-нибудь ином, кроме твоей болезни? Пока я не получила твою вторую записку, я все придумывала, как бы тебя увидеть,

— И ты была одна?

— Одна, — ответила она простодушно; вероятно, именно такое простодушие и побудило мавра убить Дездемону. Так как моя возлюбленная занимала весь особняк и других жильцов там не было, эти слова являлись ужасной ложью. Одна такая ложь разрушает безграничное доверие, на котором для иных душ зиждется любовь. Чтобы передать вам, что я переживал в это мгновение, следует допустить, что в нас сокрыто какое-то внутреннее существо, для которого наше видимое «я» служит оболочкой. Это существо, блистательное как звезда, нежное как тень, навеки облеклось в траур... Да, я почувствовал, как сухая и холодная рука распростерла надо мной саван тяжкого опыта и навсегда оставила в моей душе горечь, вызываемую первым предательством. Я потупился, чтобы она не заметила, как я потрясен. Но тут мне пришла тщеславная мысль, которая несколько отрезвила меня: «Если она обманывает, она не достойна тебя!» Я объяснил краску, выступившую на моем лице, и слезы на глазах нездоровьем, и нежное создание пожелало проводить меня домой на извозчике; она опустила в карете шторы и всю дорогу была так ласкова, так нежна, что обманула бы самого венецианского мавра, которого я привел в пример. Действительно, если бы это большое дитя стало еще несколько мгновений колебаться, то всякий догадливый зритель сообразил бы, что он готов просить у Дездемоны прощения. Да и убить женщину — это ребяческая месть. При расставании моя возлюбленная плакала: до того она была огорчена, что не может ухаживать за мной. Ей хотелось быть моим слугой, она завидовала этому счастливцу, и все говорилось ею так гладко, словно было взято из писем Клариссы[17] в дни ее счастья! Даже в самой красивой и в самой ангелоподобной женщине всегда скрыта ловкая обезьяна.

Тут все женщины потупились, словно их задела эта жестокая истина, так жестоко высказанная.

— Я не стану говорить, как я провел ночь и всю следующую неделю, — продолжал де Марсе.
— Я признал в себе способности государственного человека.

Это было сказано так к месту, что все мы с восторгом посмотрели на него.

— Пересматривал с дьявольской изощренностью все настоящие, жестокие способы мести женщине (а так как мы друг друга любили, то были среди них страшные, непоправимые), — я презирал себя, чувствовал себя вульгарным и бессознательно создавал отвратительный кодекс: кодекс Снисходительности. Отомстить женщине — разве не значит признаться, что, кроме нее, для тебя не существует женщин, что без нее ты не в силах жить? В таком случае можно ли мстью вернуть ее? А если она нам не необходима, если для нас существуют и другие, то почему не предоставить ей право, которое мы присвоили себе, — право измены? Все эти рассуждения, конечно, относятся только к страсти, иначе они были бы антиобщественны. А неустойчивость страсти убедительнее всего доказывает, насколько необходима нерасторжимость брака. Словно дикие звери, каковы они и есть, оба пола

должны быть прикованы друг к другу нерушимыми, неумолимыми и безгласными законами. Уничтожьте месть, и измена в любви станет пустяком. Те, которые полагают, что для них в целом мире существует лишь одна женщина, должны признавать месть. Но тогда настоящая месть только одна, — месть Отелло. А вот какова была моя месть.

Эти слова вызвали среди слушателей неуловимое движение, которое журналисты в отчетах о парламентских выступлениях обозначают так: (сильное оживление).

— Излечившись от простуды и от единственной, божественной, чистой любви, я разрешил себе любовное приключение, героиня которого была очаровательна и совсем не похожа на моего ангела-предателя. Я не порвал окончательно с обманщицей, такой сильной и такой ловкой комедианткой, так как не знаю, доставляет ли истинная любовь такие же тонкие наслаждения, как искусный обман. Подобное лицемерие стоит добродетели (я говорю это не для англичанок, миледи, — мягко сказал министр, обращаясь к леди Баримор, дочери лорда Дэдлея). Словом, я старался быть прежним влюбленным. Мне надо было заказать цепочку из нескольких прядей моих волос для моего нового ангела, и я отправился к искусному мастеру, жившему на улице Буше. Этот человек не знал соперников в изготовлении подарков из волос. Я даю его адрес тем, у кого мало волос: у него в мастерской всегда имеются волосы всевозможных оттенков и всяких сортов. Приняв от меня заказ, он показал мне свои работы. Я увидел предметы, стоившие такого кропотливого труда, который превосходит все, что в сказках приписывают феям, и все, что изготавливают каторжники. Он посвятил меня во все причуды моды на волосные изделия. «Вот уже год, как все неистово увлекаются модой метить белье вышивкой из волос, — сказал он. — К счастью, у меня превосходный подбор волос и умелые вышивальщицы». При этих словах меня кольнуло подозрение; я вынимаю свой носовой платок и говорю: «Так это вышивали у вас из фальшивых волос?» Он взглянул на платок и ответил: «О, конечно, и заказчица была очень требовательна, она пожелала сличить вышивку с оттенком своих волос. Эти носовые платки моя жена метила сама. У вас, сударь, одна из лучших вышивок, которые когда-либо нами выполнялись». До этого последнего луча, осветившего мне всю картину, я все еще верил во что-то, я придавал еще значение женскому слову. Я вышел из мастерской другим человеком. Веру в наслаждение я сохранил, но веру в любовь утратил. Я стал атеистом, как математик. Два месяца спустя я сидел около моей божественной возлюбленной, в ее будуаре, на ее диване, держал ее руку в своей руке, — а ручки у нее были прелестные, — и мы взбирались на альпийские вершины чувств, срывая самые дивные цветы, обрывая лепестки ромашек (всегда бывают минуты, когда обрываешь лепестки ромашек, даже если находишься в салоне и никаких ромашек нет). В минуту самой глубокой нежности, когда сильнее всего любишь, сознание бренности любви так остро, что непреодолимо хочется спросить: «Любишь ли ты меня? Всегда ли будешь любить?» Я воспользовался этим элегическим моментом, таким сладостным, таким опьяняющим, чтобы заставить ее искусно лгать мне, говорить на очаровательном, поэтическом языке влюбленных. Шарлотта расточала сокровища своих лживых фантазий: она не может жить без меня, я для нее — единственный на свете, она боится надоест мне, ибо в моем присутствии теряет разум, возле меня все ее способности воплощаются в любовь. К тому же она слишком нежно любит меня, а это внушает ей страх. Полгода она придумывала, как бы привязать меня к себе навеки, но эта тайна известна только Богу. Одним словом, я был ее божеством.

Женщины, слушая повествование де Марсе, казалось, были обижены, что он так хорошо их изображает, — он сопровождал рассказ ужимками, качал головой, жеманничал, создавая полную иллюзию женских повадок.

— Я уже готов был поверить этой очаровательной лжи, но, продолжая держать ее влажную ручку в своей руке, спросил: «А когда ты выходишь замуж за герцога?» Удар был так метко направлен, мой взгляд так смело встретил ее взгляд, а рука ее так безмятежно покоилась в моей, что, как ни легко было ее содрогание, скрыть его совсем было невозможно. Она не вынесла моего взгляда, легкий румянец окрасил ее щеки.

— За герцога? Что вы хотите сказать этим? — спросила она, притворяясь глубоко изумленной.

— Мне все известно, — продолжал я, — и, по-моему, вам не следует больше медлить: он богат, он герцог, он более чем набожен, — он верующий. И я вполне убежден, что благодаря его щепетильности вы оставались мне верны. Вы и не представляете себе, как для вас важно, чтобы он согрешил перед самим собой и перед богом, — ведь в противном случае вы ничего не добьетесь от него.

— Что это — сон? — воскликнула она, проводя рукой по волосам, — знаменитый жест Малибран[18], но она опередила Малибран на пятнадцать лет.

— Полно, не ребячься, мой ангел, — сказал я и хотел взять ее за руки, но она с видом недотроги гневно спрятала их за спиной. — Выходите за него замуж, я разрешаю вам, — продолжал я, ответив церемонным вы на ее жест. — Больше того, я настаиваю на этом.

— Но, — воскликнула она, падая передо мной на колени, — это какое-то ужасное недоразумение. Я люблю только тебя, проси у меня каких хочешь доказательств.

— Встаньте, дорогая, и окажите мне честь — будьте правдивой.

— Хорошо, как перед богом.

— Сомневаетесь вы в моей любви?

— Нет.

— В моей верности?

— Нет.

— Ну так вот, я совершил величайший грех, я усомнился в вашей любви и в вашей верности. Между двумя страстными свиданиями я начал хладнокровно следить за вами.

— Хладнокровно! — воскликнула она вздыхая. — Довольно, Анри, вы меня больше не любите.

Как видите, она уже нашла лазейку, чтобы ускользнуть. В подобного рода сценах каждое лишнее слово опасно. К счастью, примешалось любопытство.

— А что вы заметили? Разве я виделась с герцогом где-нибудь, кроме как в свете? Разве в моих глазах вы что-нибудь уловили?

— Нет, не в ваших, — ответил я, — в его глазах. Вы восемь раз заставили меня прослушать мессу в церкви святого Фомы Аквинского; я наблюдал, как вы молитесь там вместе с ним.

— А-а! — воскликнула она наконец. — Значит, вы ревнуете!

— О, я очень хотел бы ревновать! — ответил я, любясь гибкостью этого живого ума и уловками, которыми, однако, можно одурачить только слепцов. — Но, посещая церковь, я стал очень недоверчив... В день моей первой простуды и вашего первого обмана, когда вы полагали, что я лежу в постели, вы принимали герцога, а мне вы сказали, что ни с кем не видались.

— Знаете, ваше поведение постыдно!

— Почему? Я нахожу, что ваш брак с герцогом — удачная затея. Он даст вам громкое имя, единственное достойное вас, блестящее и почетное положение. Вы будете одной из парий

Парижа, и я был бы неправ, если бы воспрепятствовал вам устроить свою жизнь. Зачем вам упускать такую великолепную партию? Ах, Шарлотта, когда-нибудь вы отдадите мне справедливость, поняв, насколько я отличаюсь характером от других молодых людей. Скоро вы были бы вынуждены обманывать меня. Да, вам было бы очень трудно порвать со мной, а ведь герцог следит за вами. Пора нам расстаться. Герцог — человек строгих правил. Вам следует стать образцом нравственности, советую вам. Герцог спесив, он будет гордиться своей женой.

— Ах! — воскликнула она, заливаясь слезами. — Анри, если бы ты заговорил раньше, да, если бы ты захотел (я уже, как видите, был виноват!), мы уехали бы в какой-нибудь уголок, обвенчались бы там и жили бы, счастливые, не таясь от света.

— Теперь поздно говорить об этом, — сказал я, целуя ее руки и принимая вид несчастной жертвы.

— Но, боже мой, я могу еще все расстроить! — воскликнула она.

— Нет, вы слишком далеко зашли с герцогом. Мне придется уехать путешествовать, чтобы нам легче было перенести разрыв. Иначе нам обоим надо будет опасаться нашей любви.

— Разве вы думаете, Анри, что герцог подозревает что-нибудь?

Я был еще «Анри», но уже утратил «ты».

— Нет, не думаю, — ответил я, принимая личину и тон преданного друга, — но будьте очень набожны, примиритесь с Богом, ибо герцог ждет доказательств, он колеблется, надо подтолкнуть его.

Она встала и дважды прошлась по будуару, может быть искренне, а может быть и притворно взволнованная. Затем она, видимо, нашла позу, взгляд, соответствовавшие новым обстоятельствам, и, став предо мной, протянула мне руку и растроганно сказала:

— Ну что ж, Анри, вы — прямодушный, благородный, прекрасный человек. Я никогда вас не забуду.

Это был замечательно искусный ход. Она была очаровательна, сумев так быстро переменить тактику, а это было необходимо в том новом положении, в которое она хотела поставить себя. Что касается меня, то всем своим видом, взглядом, позой я выразил глубокую скорбь и заметил, что надменность моей возлюбленной смягчилась. Она взглянула на меня, взяла за руку, привлекла к себе, слегка толкнула на диван и, помолчав, сказала:

— Мне страшно тяжело, дитя мое. Вы меня любите?

— Еще бы!

— Так что же с вами будет?

Тут все женщины переглянулись.

— Мне до сих пор невыносимо воспоминание об ее измене, но и до сих пор мне смешно, когда я вспоминаю ее лицо, выражавшее глубокую убежденность, спокойную уверенность, если не в моей смерти, то по крайней мере в моей вечной печали, — продолжал де Марсе. — О, подождите еще смеяться, — обратился он к присутствующим. — Произошло нечто еще более поразительное. Помолчав, я взглянул на нее влюбленными глазами и сказал:

— Да, я уже и сам думал об этом.

— И что же вы будете делать?

— Я уже думал об этом на другой день после простуды...

— И...? — спросила она с явным беспокойством.

— И начал ухаживать за той дамочкой, в которую меня считали влюбленным.

Шарлотта, словно испуганная лань, вскочила с дивана, задрожала, как лист, и бросила на меня взгляд, которым женщина выдает лютую злобу, забыв всю свою стыдливость, всю пронзительность и даже все свое изящество, — сверкающий взгляд преследуемой и пойманной в своем гнезде гадюки; она сказала:

— А я-то его любила! Я-то боролась! Я-то... (На третьей мысли, о которой я предоставляю вам догадываться, она сделала самое красноречивое ударение, какое мне когда-либо приходилось слышать.) — Боже мой! — воскликнула она. — Как мы несчастны! Нам никогда не удастся заслужить любви. Вы относитесь легко даже к самым искренним чувствам. Но не обольщайтесь: когда вы хитрите с нами, вы все же всегда бываете одурочены.

— Я это прекрасно вижу, — ответил я грустно. — Вы слишком благоразумны в гневе, значит сердце ваше молчит.

Эта скромная насмешка удвоила ее ярость; даже слезы выступили у нее на глазах.

— Вы опорочили в моих глазах весь мир и жизнь, — сказала она, — вы лишили меня всех иллюзий, вы развратили мое сердце.

Она сказала мне все то, что я имел право высказать ей, — сказала с такой беззастенчивой самоуверенностью, с такой наивной дерзостью, что другой окаменел бы на месте.

— Что будет с нами, несчастными женщинами, в обществе, которое создала нам Хартия[19] Людовика Восемнадцатого! (Судите сами, куда завело ее красноречие!) — Да, мы рождены для страданий. В страсти мы всегда честнее вас. В вашем сердце нет ни капли благородства. Для вас любовь — игра, в которой вы всегда плутуете.

— Дорогая, — ответил я, — относиться к чему-нибудь серьезно в современном обществе — это значит играть в искреннюю любовь с актрисой.

— Какая подлая измена! Она заранее обдумана!

— Нет, она оправдана!

— Прощайте, господин де Марсе, — сказала она, — вы низко обманули меня!

— А будет ли герцогиня помнить обиды, нанесенные Шарлотте? — спросил я смиренно.

— Конечно, — ответила она с горечью.

— Итак, вы меня ненавидите?

Она кивнула головой, а я подумал: «Значит, не все потеряно!» Я ушел, оставив ее в убеждении, что ей есть за что мстить. Знаете, друзья мои, я изучал жизнь мужчин, пользовавшихся успехом у женщин, но полагаю, что ни маршал Ришелье, ни Лозен[20], ни Людовик де Валуа[21] в первый раз так искусно не отступали, как я. А что касается моего ума и сердца, то именно тут они окончательно определились, и сила воли, с которой я тогда сумел обуздать порывы чувства, заставляющие нас совершать такое множество необдуманных поступков, дала мне то самообладание, которое вам известно.

— Как мне жаль вторую вашу страсть, — сказала баронесса де Нусинген[22].

От загадочной улыбки, скользнувшей по губам де Марсе, Дельфина де Нусинген покраснела.

— Как все сапыфается! — воскликнул барон де Нусинген.

Наивность знаменитого банкира имела такой успех, что даже жена его, которая и была второй страстью де Марсе, не могла не засмеяться вместе со всеми.

— Вы все склонны осуждать эту женщину, — сказала леди Дэдлей, — а я понимаю, почему она не считала свое замужество изменой. Мужчины никогда не желают делать различия между постоянством и верностью. Я знаю женщину, о которой рассказывал господин де Марсе, это была одна из ваших последних знатных дам.

— Увы, миледи, вы правы, — сказал де Марсе, — скоро уже пятьдесят лет, как мы присутствуем при непрерывном разрушении социальных различий. Нам следовало бы оградить женщин от этого страшного крушения, но свод законов сравнивал и их. Как ни ужасно то, что я скажу, но сказать это надо: герцогини исчезают, маркизы тоже. А что касается баронесс (прошу прощения у госпожи де Нусинген, которая будет графиней, когда ее муж станет пэром Франции), то к баронессам никогда не относились серьезно.

— Аристократия начинается с виконтессы, — заметил, улыбаясь, Блонде.

— Графини останутся, — вновь заговорил де Марсе, — изящная женщина всегда будет более или менее графиней, графиней времен Империи или графиней новоиспеченной, графиней из старинного дворянства или, как говорят итальянцы, графиней по изысканности. Но что касается знатной дамы, то она исчезла вместе со всем пышным окружением прошлого столетия, вместе с пудрой, с мушками, туфельками без задников, корсажами на планшетах, украшенными множеством пышных бантов. Современные герцогини легко проходят в двери, которые нет надобности расширять для необъятных фижм. Империя видела последние платья со шлейфами. Я до сих пор удивляюсь, каким образом монарх, желавший, чтобы паркет его дворцовых покоев подметали атласные или бархатные шлейфы герцогинь, не закрепил за некоторыми семьями при помощи незыблемых законов право первородства. Наполеон не учел последствий своего Кодекса, которым так гордился. Этот человек, создавая новых герцогинь, вызвал к жизни наших современных светских женщин, посредственный продукт его законодательства.

— Когда только что окончивший школу юнец или бездарный журналист пользуется мыслью, словно молотом, она разрушает основы общественного порядка, — сказал граф де Ванденес. — В наше время всякий пройдоха, умеющий пускать пыль в глаза, украсить свою мощную грудь атласным жилетом в виде панциря, хранить на челе под ниспадающими кудрями печать сомнительной гениальности, умеющий вихлять в лакированных бальных туфлях, шестифранковых шелковых носках и, гримасничая, носить монокль, — будь он писцом у стряпчего, или сыном подрядчика, или побочным сыном банкира, — позволяет себе дерзко с ног до головы оглядывать самую красивую герцогиню, оценивать ее, когда она спускается по лестнице в каком-нибудь театре, и говорить приятелю, одевающемуся у Бюиссона, где мы все одеваемся, и обутому в лакированную обувь, как любой герцог: «Вот, милый мой, великосветская женщина!»

— Вы не сумели создать партию, — сказал лорд Дэдлей, — и у вас еще долго не будет политики. Во Франции много толкуют об упорядочении труда, но вы еще до сих пор не упорядочили собственности, и вот что с вами происходит: при Людовике Восемнадцатом или Карле Десятом[23] еще встречались герцоги, у которых было по двести тысяч ливров ренты, великолепные особняки и величественные слуги, — такой герцог мог жить как вельможа. Последним из французских вельмож был князь Талейран. Так вот, герцог оставляет четверых детей, из них две дочери. Предположим, что он очень удачно их женил и выдал замуж;

каждый из его прямых наследников имеет в данное время уже не более шестидесяти — восьмидесяти тысяч ливров ренты. Каждый из них отец или мать многочисленного потомства; следовательно, они вынуждены жить в квартире где-нибудь в нижнем или втором этаже, соблюдая строжайшую экономию. Быть может, они даже выслеживают наследство. И так, у жены старшего сына, оставшейся герцогиней только по имени, нет ни собственного выезда, ни лакеев, ни ложи в театре, ни приемных дней, у нее нет «своей половины» в особняке, ни собственного состояния, ни безделушек; она похоронила себя в семейной жизни, как женщина из предместья Сен-Дени — в своей торговле. Она сама выкармливает своих дорогих малюток, сама покупает для них чулки, наблюдает за дочерьми, которых уже не отдают в монастырский пансион. Таким образом, самые знатные ваши женщины обратились в почтенных наседок.

— Увы, это верно! — воскликнул Жозеф Бридо. — Наша эпоха утратила прелестную женщину — цветок, украшавший великолепные времена французской монархии. Веер знатной дамы сломан: женщине уже не нужно больше за ним скрываться, краснеть, задумываться, шептаться, выглядывать из-за него. В наше время веер лишь веет ветерком. А ведь любая вещь, когда она представляет собою лишь то, что она есть, становится только полезной и перестает быть предметом роскоши.

— Все во Франции способствовало появлению светской женщины, — сказал Даниель д'Артез [24], — аристократия допустила это, удалившись в глушь своих поместий, куда она скрылась, чтобы умирать; она эмигрировала в глубь страны перед натиском новых идей, как когда-то эмигрировала за границу перед натиском народных масс. Женщины, которые могли бы создавать европейские салоны, управлять общественным мнением, выворачивая его, словно перчатку, господствуя над людьми искусства или мысли, — которые должны господствовать над светом, — эти женщины совершили ошибку: они покинули поле битвы, считая позорным для себя бороться с буржуазией, опьяненной властью, выступившей на арену и не понимающей, что ее растерзают на куски варвары, которые следуют за ней по пятам. Поэтому там, где буржуа думает видеть принцесс, встречаются только молодые светские особы. В настоящее время принцы уже не находят знатных дам, которых они могут компрометировать, они даже не могут прославить женщину, случайно ставшую им близкой. Последний воспользовавшийся этим правом был герцог Бурбонский[25].

— И один Бог знает, чего ему это стоило, — заметил лорд Дэдлей.

— В настоящее время князья женаты на светских женщинах, которые вынуждены абонировать ложу сообща с подругами и которых даже королевская милость ни на йоту не возвеличила бы. Они незаметно скользят между двумя течениями — буржуазией и дворянством, не будучи сами ни тем ни другим, — с горечью сказала маркиза де Рошфид[26].

— Наследницей женщины стала печать! — воскликнул Растиньяк. — В настоящее время женщина утратила способность быть живым фельетоном, очаровательно злословить, украшая беседу изысканными словечками. Теперь мы читаем фельетоны, написанные на жаргоне, меняющемся каждые три года, и развлекают нас нынешние газетки, остроты которых веселы, как факельщики в похоронной процессии, и легки, как свинец типографских литер. Из конца в конец Франции ведутся разговоры на революционной тарабарщине, которую тискают длинными столбцами на бумаге в особняках, где вместо былых бесед в блестящем кругу теперь скрипит печатный станок.

— Звучит похоронный звон высшему обществу, вы слышите его? — спросил русский князь. — Первый удар этого колокола — ваше модное слово: светская женщина.

— Вы правы, князь, — сказал де Марсе, — эта женщина, вышедшая из рядов дворянства или выскочившая из буржуазии, вырастает на любой почве, даже на провинциальной; вот вам

выразительница нашей эпохи, последнее воплощение хорошего тона, ума, изящества, собранных воедино, но в уменьшенном виде. Мы больше не увидим во Франции знатных дам, но у нас еще долго будут светские женщины, избранные общественным мнением в женскую законодательную палату, и они будут для прекрасного пола тем, кем в Англии является джентльмен.

— И это они называют прогрессом! — сказала мадемуазель де Туш. — Хотела бы я знать, в чем же здесь прогресс?

— А вот в чем, — ответила г-жа де Нусинген. — В былое время женщина могла отличаться голосом торговки, походкой гренадера, лицом дерзкой куртизанки, прилизанной прической, огромными ногами, толстыми руками, — и тем не менее она оставалась знатной дамой. Теперь же знатная женщина, будь она хоть из рода Монморанси[27] (если только девицы Монморанси могут обладать такой внешностью), все равно не будет светской женщиной.

— Но что подразумеваете вы под понятием «светская женщина»? — наивно спросил граф Адам Лагинский.

— Это модное создание, жалкий триумф выборной системы в применении к прекрасному полу, — ответил министр. — Каждая революция порождает слово, которое подводит ей итог и ее характеризует.

— Вы правы, — сказал русский князь, приехавший в Париж с целью создать себе здесь литературную славу. — Если объяснить некоторые слова, из века в век прибавлявшиеся к вашему прекрасному языку, то можно было бы написать замечательную историю. Например, слово «организовать». Оно создано Империей и включает в себя целиком понятие «Наполеон».

— Но все это не объясняет мне, что же такое светская женщина! — воскликнул молодой поляк.

— Хорошо, я объясню вам это[28], — ответил Эмиль Блонде графу Адаму. — Вы бродите в ясный, погожий день по Парижу. Уже больше двух часов, но пяти еще нет. Навстречу вам приближается женщина. Первый беглый взгляд, который вы бросаете на нее, для вас как бы предисловие к чудесной книге; вы предчувствуете уже целый мир, изысканный и утонченный. Как ботаник, собирающий по горам и долинам гербарий, вы среди вульгарных парижанок встретили, наконец, редкий цветок. Эту женщину сопровождают двое мужчин с весьма благородной осанкой, из которых по крайней мере один с орденской ленточкой в петлице, или же в десяти шагах за ней следует слуга в будничной ливрее. Она не носит ярких тканей, ажурных чулок, вычурных пряжек на поясе, панталон с вышитой оборкой, пенящейся вокруг щиколотки[29]. Она обута в прюнелевые[30] башмачки с лентами, переплетающимися на тончайшем шерстяном или шелковом чулке, сером, без узоров, или же в легкие, очаровательно простые полусапожки. Одежда на ней из красивой, но не очень дорогой ткани, и многие мещанки стараются запомнить фасон ее платья. Чаще всего — это редингот, завязывающийся бантами и изящно обшитый петельками из шнура или тонкой вязаной сеточкой. У незнакомки своя особая манера кутаться в шаль или тальму. Она умеет так завернуться в них, что ее голова выступает словно из какого-то панциря, который мещанку сделал бы похожей на черепаху, но у нашей незнакомки он дает представление о безупречной ее фигуре. Каким образом достигает она этого? Это ее тайна, и она не гонится за патентом изобретателя. Легкая, плавная походка придает ее движениям что-то цельное, гармоничное, и ее формы играют под одеждой с пленительной и опасной грацией. Так в полдень извивается змейка под зеленым покровом шелестящей травы. Кому обязана она — ангелу или демону? — изящной плавностью своих движений, которые колышат длинную черную накидку, шевеля кружева по краям и распространяя легкий аромат духов, — я охотно дам ему наименование — ветерок парижанки? Вы сразу узнаете целую науку, сложную науку

в расположении складок самой грубой ткани, драпирующей ее плечи, шею, стан так искусно, что кажется видишь перед собой античную Мнемозину. Ах, как понятен такой женщине рисунок походки[31], — простите мне это выражение. Вглядитесь, как благопристойно она выступает, обрисовывая под одеждой свой стан, вызывая у прохожего восхищение, смешанное с желанием, но умеряемое глубоким почтением. Когда англичанка пытается идти такой походкой, она похожа на гренадера, атакующего редут. Да, парижанкам принадлежит гений походки! Должно быть, ради них городскому управлению пришлось залить асфальтом тротуары. Эта незнакомка никого не толкнет. С горделивой скромностью ожидает она, чтобы ей уступили дорогу. Особое отличие хорошо воспитанной женщины заметно хотя бы по ее манере придерживать на груди шаль или тальму. Она идет по улицам Парижа, храня скромный и бесстрастный вид, напоминая мадонн Рафаэля в их окружении. Ее осанка, одновременно и спокойная и пренебрежительная, заставляет самого дерзкого денди почтительно посторониться перед ней. Ее изысканно простая шляпка отделана свежими лентами, иногда цветами. Но самые искусные женщины ограничиваются только завязками из лент. Перьев вы на их шляпах не увидите, — перьям приличествует экипаж; цветы привлекают слишком много взглядов. Из-под шляпки выглядывает свежее спокойное личико женщины не чванливой, уверенной в себе; она ни на что не смотрит пристально, но все замечает; всегда удовлетворенное тщеславие придает ее чертам выражение какого-то равнодушия, которое дразнит любопытство. Она знает, что на нее оглядываются все, даже женщины, и проносится мимо них, тоненькая, светлая, словно осенняя паутинка. Эта великолепная порода любит самые жаркие широты и самые чистые долготы Парижа. Вы увидите ее между десятой и сто десятой аркадой улицы Риволи, на Больших бульварах — от экватора пассажа Панорамы, где процветают изделия Индии, где разложены самые последние новинки промышленности, до мыса Мадлен[32], в местностях, наименее опошленных буржуазией, между 30-м и 150-м номерами улицы Фобур-Сент-Оноре. Зимой она любит гулять по террасе Фельянов[33], но не по асфальтовому тротуару, идущему вдоль нее. В хорошую погоду она скользит по аллее Елисейских Полей, окаймленных с востока площадью Людовика Пятнадцатого, с запада — проспектом Мариньи, с юга — тротуарами для пешеходов и с севера — садами предместья Сент-Оноре. Вы никогда не встретите этой прелестной разновидности женщин на северных окраинах улицы Сен-Дени, никогда не увидите ее на Камчатке узких, грязных торговых улочек, и никогда, нигде вы не встретите ее в дождь и холод. Эти цветы Парижа распускаются только при знойной погоде, их ароматом напоены места прогулок, — но бьет пять часов, и они свертываются, как трехцветный вьюнок. Женщины, которых вы встретите позже, несколько похожи на них и пытаются подражать им, но это женщины как бы светские, тогда как прекрасная незнакомка, ваша дневная Беатриче — женщина светская. Трудно иностранцам, дорогой граф, заметить признаки, по которым опытные наблюдатели узнают женщин как бы светских, до такой степени ловко они маскируются, но парижанам эти различия бросаются в глаза. Это — неумело скрытые застежки, пожелтевшие тесемки шнуровки, видной сквозь прореху корсажа, расстегнувшегося на спине, стоптанные башмаки, отглаженные ленты на шляпе, слишком пышные оборки платья, слишком накрахмаленный турнюр. Вы заметите, что ресницы она опускает как-то неестественно, и все ее манеры выдают какую-то напряженность. Что же касается женщины буржуазного круга, то ее никак не примешь за светскую женщину, — отличие резко подчеркнуто; потому-то наша незнакомка и производит такое сильное впечатление. Буржуазная женщина деловита, выходит из дому в любую погоду, куда-то семенит, спешит, возвращается, не знает, — войти ей в магазин или не войти. В тех случаях, когда светская женщина твердо знает, чего она хочет и что ей делать, женщина буржуазная колеблется; она высоко подбирает платье, чтобы перейти канавку, тащит за собой ребенка, и поэтому опасно озирается, остерегаясь экипажей. Она — мать на глазах у всех; она болтает с дочерью, деньги носит в ручной корзиночке, а чулки у нее ажурные. Зимой сверх меховой пелерины она набрасывает боа, а летом поверх шали — шарф, нагромождает в своем туалете одно на другое. Вашу прелестную незнакомку вы увидите у Итальянцев или на балу в Опере. Там она предстанет перед вами в совершенно ином обличье, и вы скажете: «Но это же не она!» — Там эта женщина — словно бабочка, выпорхнувшая из своего таинственного

кокона. Как самым утонченным лакомством позволяет она вашим взорам наслаждаться лицезрением ее фигуры, которую утром корсаж лишь слегка обрисовывал. В театре она сидит не выше второго яруса, за исключением Итальянской оперы. Вы можете любоваться изысканной плавностью ее движений. Очаровательная плутовка пускает в ход всевозможные женские уловки, но делает это чрезвычайно естественно, — вам и в голову не придет, что все это совершается сознательно, преднамеренно. Если у нее царственно прекрасная рука, то даже самый пронизательный человек поверит, что ей необходимо было закрутить, поправить или отбросить локон или завиток волос, которых она слегка касается. Если у нее прекрасный профиль, то вам покажется, что она насмехается или хвалит, рассказывая что-то соседу, нечаянно придав головке тот излюбленный великими художниками поворот, при котором свет падает на щеку, четко обрисовывается линия носа, освещаются розовые ноздри, сглаживаются очертания слишком выпуклого лба, в глазах, устремленных куда-то вдаль, усиливается их искристый блеск, и светлым бликом выступает белоснежная округлость подбородка. Если у нее хорошенькая ножка, то она, нежась словно кошечка на солнце, опустится на диван, вытянет ножки, и вы в этом положении тела не найдете ничего, кроме самой восхитительной позы, вызванной усталостью. Только светская женщина чувствует себя непринужденно в своей одежде. Ничто не стесняет ее. Вы никогда не увидите, чтобы она, как буржуазка, натягивала на плечо соскользнувшую с него ленту или вправляла выскочившую из корсета планшетку, или смотрела бы, охраняет ли шейная косынка, этот неверный страж, два белоснежных сокровища, или же смотрелась бы в зеркало, чтобы убедиться, что прическа не растрепалась. Наряд ее всегда соответствует ее внешности. Она, не жалея времени, на досуге изучила себя, устанавливая, что больше всего ей к лицу, и с давних пор хорошо знает, что к ней не идет. Вы не увидите ее при разъезде, она исчезнет до окончания спектакля, а если случайно, спокойная и величественная, она покажется на красном ковре лестницы, то вызовет пылкое восхищение зрителей. Она здесь по чьему-то приказанию, ей надо кому-то бросить украдкой взгляд, получить какое-то обещание. Быть может, она так медленно спускается, чтобы удовлетворить тщеславие раба, которому она порой сама повинуется! Встретив ее на каком-нибудь балу или званом вечере, вы насладитесь искусственной нежностью ее вкрадчивого голоса, вас восхитит ее пустая болтовня, которой она с неподражаемым умением придаст видимость мысли,

— Разве не надо быть умной, чтобы слыть светской женщиной? — спросил польский граф.

— Ею невозможно быть, не обладая вкусом, — ответила г-жа д'Эспар.

— Во Франции обладать вкусом — это больше, чем обладать умом, — заметил русский князь.

— Ум такой женщины является торжеством искусства пластического, — продолжал Блонде.

— Вы не знаете еще, что она скажет, но вы уже очарованы. Покачает ли она головой, или мило пожмет плечами, она уже позолотила незначительную фразу очаровательной улыбкой, гримаской или вложила смысл вольтеровской эпиграммы в восклицания: «Вот как!» или «Неужели?» или «Еще бы!» Поворот ее головы может стать самым пытливым вопросом. Она придает смысл даже тому движению, каким играет флакончиком с духами, подвешенным к кольцу на ее пальце. Все это искусственное величие достигается самыми пустячными мелочами. Вот она небрежно свесила руку с локотника кресла, а вам кажется, что это спадают капли росы с лепестков цветка, и этим все решено; этим движением она сказала свое слово, взволновав даже самых хладнокровных. Она умеет вас слушать, она доставляет вам возможность быть остроумным, а ведь такие минуты (я обращаюсь к вашей скромности) бывают редки.

Молодой поляк слушал Блонде с таким простодушным видом, что все рассмеялись.

— Вам достаточно полчаса побеседовать с буржуазной женщиной, и она уже заговорит о своем муже, — продолжал Блонде, не утратив комической серьезности. — Но если даже вам

известно, что ваша светская женщина замужем, у нее хватит такта не занимать вас разговорами о своем супруге, и вам понадобятся усилия Христофора Колумба, чтобы открыть ее мужа среди гостей. Случается, что вам одному сделать это не под силу. Если вам никого не удалось расспросить, то только к концу вечера вы замечаете, как она пристально смотрит на мужчину средних лет, украшенного орденами, который, кивнув головой, выходит: она попросила мужа вызвать экипаж и уезжает. Вы сами отнюдь не цветок, но вы находились в его близости и вернетесь домой в золотистом тумане дивных грез, которые, быть может, продолжатся и в сновидениях, когда Сон своей могучей дланью распахнет ослепительно-белые врата храма Фантазии. Ни одна светская женщина не принимает у себя ранее четырех часов. Она прекрасно понимает, что надо заставить вас подождать ее. Убранство ее дома всегда самое изысканное, в нем роскошь стала повседневностью, всегда свежа и уместна. Вы там не увидите ничего хранящегося под стеклянным колпаком, не увидите суконных вышитых конвертов, висящих на стене, словно шкапчики для провизии. Уже на лестнице вам будет тепло. Повсюду цветы будут радовать ваш взор. Цветы — единственное подношение, которое она принимает, и то лишь от очень немногих. Букеты живут только день, доставляют радость и требуют обновления. Для нее они, как на Востоке, — символ, обещание. Повсюду разбросаны модные, дорогие безделушки, но комнаты не напоминают ни музей, ни антикварную лавку. Вы найдете эту женщину в ее любимом уголке у огня, на диванчике; она приветствует вас не вставая. Здесь ее беседа будет иной, чем на балу. Вне дома она была вашим заимодавцем, а дома сама заимствует у вас то, что доставляет удовольствие ее уму. Всеми этими оттенками светская женщина владеет в совершенстве. Она ценит в вас человека, который приумножит собирающееся у нее общество, — предмет беспокойства и забот светской женщины в наши дни. Чтобы сделать вас постоянным посетителем ее салона, она будет с вами очаровательно кокетлива. Это даст вам почувствовать, как обособленно живут женщины в наше время и почему они так хотят иметь свой мирок, для которого они будут светилом. Беседа немыслима без общности интересов.

— Да, — сказал де Марсе, — тебе хорошо известен порок нашего времени. Эпиграмма, эта книга, включенная в одну остроту, теперь направлена не на личности, не на предметы, как то было в восемнадцатом веке, но на пошлые происшествия, и живет теперь эпиграмма всего один день.

— Ум светской женщины, если только он у нее есть, — продолжал Блонде, — это ум скептический, тогда как у буржуазной женщины он доверчивый. В этом-то и заключается главное различие этих двух типов женщин. Мещанка, несомненно, добродетельна, светская же дама — не уверена, есть ли у нее добродетель и будет ли она всегда добродетельна. Она колеблется и противится, тогда как мещанка сначала отказывает наотрез, а затем безоговорочно уступает. Эти постоянные колебания светской женщины — последнее очарование, оставленное ей нашей ужасной эпохой. Она редко бывает в церкви, зато много говорит о религии и постарается обратить вас на путь истинный, если у вас достаточно сообразительности, чтобы разыгрывать перед ней вольнодумца, — этим вы дадите исход ее рвению, и оно выразится в шаблонных фразах, в установленном для сего случая выражении лица, в жестах, принятых у светских женщин. «Ах, как это нехорошо, а я полагала, что вы настолько умны, что не будете нападать на религию! Общество рушится, а вы лишаете его опоры. В данное время религия — это вы и я, это собственность, это будущее наших детей. Ах, не будем эгоистичны! Себялюбие — болезнь нашего века, и единственное лекарство против него — это религия, она вносит единение в семьи, разъединенные вашими законами», и т. п. Она начинает разговор в неохристианском духе, уснащенный политикой, в духе ни католическом, ни протестантском, зато разговор нравственный, — о, чертовски нравственный! В нем вы узнаете обрывки, лоскутки всех сотканых ныне разношерстных доктрин[34].

Тут женщины рассмеялись, — такими забавными ужимками сопровождал Эмиль Блонде свои

выпады.

— Эти слова докажут вам, дорогой граф Адам, — продолжал Блонде, глядя на поляка, — что в голове светской женщины — настоящая каша из модных политических, религиозных и прочих идей; вместе с тем она окружена блестящими, но непрочными изделиями современной промышленности, которая стремится, чтобы ее товары жили недолго и быстро заменялись новыми. Вы уйдете от этой женщины, говоря себе: «У нее, несомненно, возвышенный образ мыслей». Вы тем более будете в этом убеждены, что она своей нежной рукой сумела прощупать ваше сердце и ум, она выведала ваши тайны, — ибо светская женщина делает вид, что ничего не знает, чтобы обо всем узнать, и есть тайны, о которых она всегда слышит якобы в первый раз, даже когда эти тайны ей прекрасно известны. Итак, вы уходите от нее очарованным, но обеспокоенным. От вас состояние ее сердца скрыто. В былое время знатные дамы дерзко афишировали свою страсть, теперь же страсть светской женщины размечена, как нотная бумага. У нее свои восьмушки, свои четверти, свои полуноты, свои четвертные паузы, свои фермато, свои диэзы. Как женщина слабая, она не хочет компрометировать ни своей любви, ни своего мужа, ни будущности своих детей. Ныне имя, положение, состояние не являются флагом, который внушает уважение и прикрывает любые контрабандные товары на борту. Аристократы не выступают теперь дружным отрядом, чтобы заслонить согрешившую знатную даму. Поэтому нынешняя светская женщина не отличается величием, как прежняя знатная дама; она ничего не может попирать своей пятой, ибо сама будет поправа. Поэтому-то она лицемерит, соблюдает приличия, старается сохранить свою страсть в тайне и благополучно провести ее по руслу, усеянному подводными камнями. Она опасается своих слуг, как англичанка, которой всюду мерещится судебный процесс за греховные разговоры. Эта женщина, такая непринужденная на балу, такая прелестная на прогулке, — рабыня у себя дома; она независима только в очень замкнутом кругу да в мыслях. Она желает оставаться светской женщиной — вот ее задача. А в наши дни женщина, покинутая мужем, ограниченная скромной пенсией, лишенная выезда, роскоши, ложи в театре, лишенная прелестных принадлежностей туалета, уже больше ни женщина, ни распутница, ни хозяйка. Она исчезла, превратилась в вещь. В монастырь, служить супругу небесному, замужнюю женщину не примут, — это было бы двоемужеством. Будет ли она всегда дорога своему любовнику? Это вопрос. Поэтому светская женщина всегда может подать повод к клевете, но никогда — к злословию.

— Все это жестокая правда, — сказала княгиня де Кадиньян.

— Потому-то, — продолжал Блонде, — светская женщина и живет между английским лицемерием и прелестной откровенностью восемнадцатого века: ублюдочная система, разоблачающая время, где ничто новое не похоже на прошедшее, где новшества ни к чему не ведут, где господствуют только оттенки, где значительные люди стушевываются, где различия чисто индивидуальны. Я убежден, что женщине, даже рожденной вблизи трона, невозможно постичь до двадцати пяти лет науку интриговать, невозможно понять значение мелочей, переливы голоса и гармонию красок, ангельское коварство и невинное плутовство, искусство болтовни и молчания, серьезности и шуток, ума и глупости, дипломатии и невежества, — одним словом, постичь все, что составляет сущность светской женщины.

— При таких взглядах, — спросила мадемуазель де Туш Эмиля Блонде, — куда же вы определите женщину-писательницу? Кто она, по-вашему? Светская женщина или нет?

— Если она не талантлива, то это — женщина никчемная, — ответил Эмиль Блонде, сопровождая ответ лукавым взглядом, который мог сойти за похвалу, откровенно обращенную к Камиллу Мопену. — Это мнение Наполеона, а не мое, — добавил он.

— Ах, не нападайте на Наполеона![35] — воскликнул Каналис[36], сделав выпреженный жест. — Конечно, у него были свои слабости, и одна из них — зависть к литературным дарованиям. Но кто сумеет объяснить, изобразить или понять Наполеона? Человека, которого изображают

со скрещенными на груди руками и который совершил столько дел? Скажите, кто обладал более славной, более сосредоточенной, более разъедающей, более подавляющей властью? Своеобразный гений, пронесший повсюду вооруженную цивилизацию и нигде ее не закрепивший; человек, который мог всего достичь, потому что хотел всего; человек феноменальной воли, укрощавший недуг — битвой и однако же обреченный умереть в постели от болезни, после жизни, проведенной среди ядер и пуль; человек, голова которого вмещала законодательство и меч, слово и действие; проницательный ум, все предвидевший, кроме своего крушения; странный политик, в азартной своей игре бросавший без счета человеческие жизни и пощадивший трех людей: Талейрана, Поццо ди Борго[37] и Меттерниха — дипломатов, смерть которых спасла бы его империю и которые в его глазах имели больше веса, чем тысячи солдат; человек, которому природа по исключительной милости оставила сердце в бронзовом теле; веселый и добрый в полночь, среди женщин, он утром без стеснения распоряжался Европой, как проказница девчонка для забавы расплескивает воду в ванне! Лицемерный и великодушный, любящий мишуру и одновременно простой, человек, лишенный вкуса, и покровитель искусства, — невзирая на все эти противоречия, он был инстинктивно или органически велик во всем; Цезарь — в двадцать пять лет, Кромвель — в тридцать, добрый отец и примерный супруг, как лавочник с улицы Пер-Лашез. Наконец он создал памятники, государства, королей, кодексы законов, стихи, роман, и все это больше по вдохновению, чем по правилам. Он хотел всю Европу сделать Францией! Сделав нас для всего земного шара бременем, едва не нарушившим законы тяготения, он оставил нас беднее, чем в тот день, когда наложил на нас руку. И он, завоевавший империю ради своей славы, утратил славу на краю своей империи, в море крови и солдат. Человек, который был весь мысль и действие, заключил в себе Дезэ и Фуше[38].

— То — воплощенный произвол, то — сама справедливость, смотря по обстоятельствам! Настоящий король! — сказал де Марсе.

— Ах, какое утофольстьфие слушать фас! — воскликнул барон де Нусинген.

— А вы что думаете! Разве мы угощаем вас заурядными мыслями? — спросил Жозеф Бридо. — Если бы надо было платить за удовольствие беседы, как вы оплачиваете танцы или музыку, то всего вашего состояния на это не хватило бы! У нас острога дважды в одинаковой форме не подается.

— Неужели же мы действительно так измельчали, как полагают эти господа? — сказала княгиня де Кадиньян, обращаясь к женщинам с вопросительной и насмешливой улыбкой. — Неужели потому, что мы живем при таком режиме, который все умаляет и уже приучил нас любить простенькие блюда, маленькие квартирки, убогие картины, незначительные статейки, маленькие газетки, жалкие книжонки, — неужели должны измельчать и женщины? Почему сердце человеческое должно измениться оттого, что человек переменял одежду? Во все время страсти останутся страстями. Мне известны примеры изумительной преданности, возвышенных страданий, но им не хватает гласности, — славы, если хотите, которая в былое время превозносила заблуждения некоторых женщин. Но можно быть Агнесой Сорель[39] и не спасая короля Франции. Разве наша дорогая маркиза д'Эспар не стоит госпожи Дубле или госпожи дю Деффан[40], у которых говорили и делали столько зла? Разве Тальони не стоит Камарго[41]? Малибран разве не равна Сент-Юберти[42]? Разве наши поэты не превосходят поэтов восемнадцатого века? Если в данное время, по вине лавочников, которые нами управляют, у нас нет собственного стиля, то разве Империя не накладывала на все своего отпечатка, подобно веку Людовика Пятнадцатого, и ее блеск не был сказочным? А разве измельчали науки?

— Я совершенно согласен с вами, сударыня; женщины нашей эпохи действительно величественны, — сказал генерал де Монриво. — Когда нам на смену придет потомство, госпожа Рекамье[43] будет ему казаться столь же великой, как самые прекрасные женщины прошлого столетия! Наша история так многогранна, что не хватит историков для нее! Век

Людовика Четырнадцатого имел лишь одну госпожу де Севинье[44], а у нас в Париже их сейчас тысячи, и они, несомненно, пишут лучше, чем госпожа де Севинье, но не печатают своих писем. Как бы француженка ни именовалась — «светской женщиной» или «знатной дамой», она всегда будет женщиной в истинном значении этого слова. Эмиль Блонде нарисовал нам современную женщину и ее искусство обольщать, но эта женщина, которая жеманится, наряжается, щебечет, повторяя мысли такого-то и такого-то, в нужную минуту может стать героиней. Ваши ошибки, сударыни, тем более поэтичны, что они неизменно и во все времена грозят вам величайшими опасностями. Я много наблюдал свет и, быть может, понял его слишком поздно. Но в тех случаях, когда незаконность ваших чувств была извинительна, я всегда видел следствие какой-нибудь случайности, — назовите это, если хотите, провидением, — которая роковым образом поражает ту, кого мы называем женщиной легкомысленной.

— Надеюсь, — возразила г-жа де Ванденес, — что мы можем быть героинями и в других случаях...

— Ах, позвольте уж маркизу да Монриво закончить поучение! — воскликнула г-жа д'Эспар.

— Тем более что он много поучал примером, — заметила баронесса де Нусинген.

— Право, — произнес генерал де Монриво[45], — среди множества драм, — я говорю «драм», так как вы часто употребляете это слово, — сказал он, обращаясь к Блонде, — среди известных мне драм, в которых сказался перст Божий, самая страшная была почти делом моих рук...

— Расскажите же, я обожаю все жуткое! — воскликнула леди Баримор.

— Все добродетельные женщины это любят, — ответил де Марсе, взглянув на очаровательную дочь лорда Дэдлея.

— Во время кампании 1812 года, — начал генерал Монриво, обращаясь ко мне, — я был невольной причиной ужасного несчастья, которое может помочь вам, доктор Бьяншон, разрешить некоторые проблемы, так как вы занимаетесь не только человеческим организмом, но и психологией. Это был мой второй поход; я любил опасность и смеялся над всеми, как и подобает молодому и простодушному лейтенанту. Когда мы подошли к Березине [46], армия, как вам известно, уже совсем разложилась и забыла, что значит дисциплина. Это было скопище людей различных национальностей, которое инстинктивно двигалось с севера на юг. Солдаты гнали от своих костров генерала в лохмотьях, если он не приносил им пищи и питья. После переправы через эту знаменитую реку беспорядок не уменьшился. Спокойно, однако ж без продовольствия, я выбрался из Зембинских болот и стал искать дом, где мне оказали бы гостеприимство. Я шел, не встречая на пути никакого жилья, или получал отказ там, где просил приюта, но вечером, к счастью, я заметил жалкую, маленькую польскую ферму, какую вы и представить себе не можете, если только не видели деревянных хижин Нормандии или самых бедных мыз Босской долины. Такие жилища состоят из одной горницы, разделенной дощатой перегородкой. Отгороженная часть служит складом для сена и соломы. Я чудом разглядел при вечерних сумерках легкий дымок, подымавшийся над этим домом. Рассчитывая найти там товарищей более сострадательных, чем те, к которым до тех пор обращался, я смело двинулся к этой ферме. Войдя, я увидел накрытый стол. Несколько офицеров и среди них одна женщина — явление довольно обычное — ели картошку, конину, поджаренную на углях, и мороженую свеклу. В числе сидящих я узнал двух-трех капитанов первого артиллерийского полка, где я служил. Меня встретили громким «ура», что меня сильно удивило бы по ту сторону Березины; но в данный момент мороз был уже не таким суровым, офицеры отдыхали, им было тепло, они ели, и горница, устланная охапками соломы, сулила им чудесный сон. В ту пору мы были неприхотливы. Филантропия давалась моим товарищам даром — это ведь самый обычный вид филантропии. Я уселся на вязанках

соломы и принялся за еду. В конце стола, около двери в боковушку, служившую сеновалом, сидел мой бывший командир, один из самых необыкновенных людей, каких я когда-либо встречал среди человеческого сброда, с которым мне приходилось сталкиваться. Он был итальянец. А уж если южанин красив, то его красота — всегда совершенна. Обращали ли вы внимание на исключительную белизну кожи тех итальянцев, которые от природы бледны? Эта белизна изумительна, особенно при свечах. Когда я прочитал описание фантастического героя полковника Удэ, изображенного Шарлем Нодье[47], то в каждой из его изящных фраз я нашел отклик собственных впечатлений. Итак, мой полковник был итальянец, как и большинство офицеров его полка, взятого императором из армии принца Евгения[48]; он был высокого, саженого роста, великолепно сложен, пожалуй, слишком дороден, но отличался необычайной физической силой, а вместе с тем был ловкий и проворный, как борзая. Черные вьющиеся кольцами волосы оттеняли нежный, как у женщин, цвет лица; руки у него были маленькие, нога красива, рот прелестный; нос орлиный, тонких очертаний, причем кончик его как-то сжимался и белел, когда полковник сердился, а случалось это часто. Вспыльчивость его была столь невероятна, что лучше я умолчу о ней; вы сами будете судить о ней. Никто возле него не чувствовал себя спокойно. Пожалуй, один я не боялся его; правда, он почувствовал ко мне такую исключительную дружбу, что все, что бы я ни делал, он находил прекрасным. Когда он приходил в ярость, лоб его морщился и посередине его прорезали складки в виде дельты, или, вернее, в виде подковы коня Редгонтлета[49]. Этот признак ужасал еще сильнее, чем магнетический блеск его синих глаз. Тело его содрогалось, и в порыве гнева физическая сила его, и без того огромная, становилась почти беспредельной. Он сильно картавил. Его голос, не менее мощный, чем голос полковника Удэ в рассказе Шарля Нодье, звучал всевозможными раскатами и переливами в словах со звуком «р». Этот недостаток речи являлся, однако, достоинством в некоторые моменты, — например, когда полковник командовал на маневрах или был взволнован, и вы не можете себе представить, сколько энергии и воли выражало это произношение, считающееся вульгарным в Париже. Надо было слышать полковника, чтобы понять это! Когда он был спокоен, его глаза выражали ангельскую кротость, а безоблачное чело было полно очарования. Ни на одном параде во всей итальянской армии никто не мог с ним сравниться. И даже д'Орсэ[50], сам великолепный д'Орсэ был побежден нашим полковником во время последнего парада, устроенного Наполеоном перед походом в Россию. В этом одаренном человеке все было противоречиво. Страсть питается контрастами. Не спрашивайте меня, оказывал ли он на женщин то неотразимое впечатление, которому ваша женская природа (тут генерал взглянул на княгиню де Кадиньян) покоряется, как расплавленное стекло стеклодуву; но по странной случайности, — наблюдатели, вероятно, замечали эту странность, — полковник не имел большого успеха у женщин, а может быть и пренебрегал им. Чтобы дать представление об его вспыльчивости, я расскажу в двух словах, на что он был способен в припадке гнева. Однажды мы продвигались с пушками по узкой дороге, с одной стороны которой был крутой откос, с другой — лес. В пути мы повстречали другой артиллерийский полк, во главе которого шел полковник. Он потребовал, чтобы капитан, командир нашей первой батареи, уступил дорогу. Капитан, конечно, воспротивился. Тогда полковник отдал приказ своей первой батарее двигаться вперед, и, как ни старался ездовой держаться как можно ближе к лесу, колесо первого лафета задело правую ногу нашего капитана, переломило ее и выбило его из седла. Все произошло в мгновение ока. Наш полковник, находившийся неподалеку, догадался о происшедшем столкновении и во весь опор, перескакивая через ямы и пни, с риском сломать себе шею, подскочил к чужому полковнику в то мгновение, когда наш капитан, падая, крикнул: «Ко мне!» Наш полковник-итальянец уже не был похож на человека. Как на бокале шампанского, вскипела пена на его губах, он рычал, словно лев. Не будучи в силах произнести ни слова, ни даже закричать, он подал грозный знак своему противнику, указав на лес, и выхватил саблю. Оба полковника направились туда. Через две секунды мы увидели противника нашего полковника распростертым на земле, с раскроенным черепом. Солдаты его уступили нам дорогу; да, черт побери, живо уступили! Капитан, еле живой, лежал в придорожной канаве, куда его отбросило колесо лафета. Он был женат на прелестной итальянке из Мессины, и она нравилась нашему полковнику. Это обстоятельство усиливало

его ярость. Он считал себя обязанным защищать мужа так же, как ее самое. И вот теперь я встретил их, всех троих, в хижине, где меня так гостеприимно приняли: капитан сидел против меня, а жена его — на другом конце стола, против полковника. Эта итальянка была невысокого роста, очень смуглая, в ее черных глазах миндалевидного разреза таился весь зной сицилийского солнца; звали ее Розиной. В то время она была жалостно худа, щеки ее запылились, словно золотистый персик, претерпевший все непогоды в долгом пути. Едва прикрытая лохмотьями, изнуренная переходами, со спутанными, слипшимися волосами, прикрытыми косынкой, она все же сохранила остатки женственности. Ее движения были грациозны; розовые, красиво изогнутые губы, белые зубы, овал лица, стан этой женщины, подвергавшейся лишениям, холоду, пренебрежению, могли еще внушать любовь тому, кто был в состоянии мечтать о любви. Розина принадлежала к числу хрупких по внешности, но сильных и выносливых от природы женщин. Лицо ее мужа, пьемонтского дворянина, выражало насмешливое добродушие, если дозволено сочетать эти два слова. Храбрый и образованный, он, казалось, не подозревал о трехлетней связи своей жены с полковником. Я приписывал это попустительству итальянским нравам или какой-нибудь супружеской тайне; и все же в лице этого человека было нечто, всегда внушавшее мне смутное недоверие. Его нижняя губа, тонкая и очень подвижная, была не приподнята в уголках рта, а опускалась, что, по-моему, служило признаком жестокости в этом человеке, с виду таком флегматичном и ленивом. Вы прекрасно понимаете, что разговор, когда я пришел, был не особенно оживленным. Мои товарищи, очень уставшие, ели молча, но они, конечно, кое о чем расспросили меня. Мы поведали друг другу о наших злоключениях, попутно делясь мыслями о войне, о генералах, об их ошибках, о русских и о холоде. Вскоре после моего прихода полковник, закончив свою скудную трапезу, вытер усы, пожелал нам спокойной ночи и, бросив на итальянку сумрачный взгляд, сказал ей: «Розина!» Затем, не дожидаясь ответа, ушел в клеть, где лежало сено. Смысл его приглашения было легко понять. У молодой женщины вырвался непередаваемый жест, говоривший, что она глубоко возмущена, видя, как грубо выставляют напоказ ее зависимость и оскорбляют ее женское достоинство и достоинство ее мужа. Но в том, как омрачилось ее лицо, как нахмурились брови, сквозило и что-то иное, какое-то предчувствие, быть может предвидение своей судьбы. Розина продолжала спокойно сидеть за столом. Спустя мгновение, по-видимому улегшись на постели из сена и соломы, итальянец повторил: «Розина!» Тон этого вторичного призыва был еще грубее первого. Картавость полковника и растягивание гласных в конце слов, присущее итальянскому языку, передавали весь деспотизм, нетерпение и волю этого человека. Розина побледнела, но встала, прошла позади нас и направилась к полковнику. Все мои товарищи хранили глубокое молчание, но я, к несчастью, обвел всех их взглядом и засмеялся. Мой смех заразил остальных. «Tu ridi?»[51] — сказал муж. «Честное слово, товарищ, — ответил я, перестав смеяться, — признаюсь: виноват. Приношу тысячу извинений; если же тебе мало моих извинений, то я к твоим услугам...» — «Не ты виноват, а я», — ответил он холодно. Вслед за тем все мы легли в этой же горнице и крепко уснули. На следующее утро каждый, не будя соседа, не подыскивая себе спутника, пустился в дорогу куда глаза глядят, с тем эгоизмом, который и превратил наше отступление в самую страшную, жалкую и отвратительную личную драму, какая когда-либо имела место на земле. Однако шагах в семистах — восьмистах от места нашего ночлега мы почти все сошлись и дальше уже продолжали путь вместе, словно стая гусей, подгоняемая слепой прихотью ребенка. Одна и та же необходимость гнала нас всех вперед. Дойдя до пригорка, откуда еще видна была ферма, в которой мы провели ночь, мы услышали крики, похожие на рычание льва в пустыне, на рев быка. Да что говорить, — эти вопли ни с чем знакомым сравнить нельзя. Мы различили также и слабый женский крик, примешавшийся к зловеющим хриплым воплям. Мы все как один оглянулись, охваченные ужасом. Мы больше не увидели дома, а лишь огромный костер. Строение, которое было кругом забаррикадировано, пылало. Вместе с клубами дыма ветер доносил до нас дикий вой и какой-то странный запах. В нескольких шагах от нас шел капитан, он только что спокойно присоединился к нашему каравану. Мы все молча смотрели на него; никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, но он догадался о терзавшем нас любопытстве, постучал себя в грудь указательным пальцем правой руки, а левой указал на пожар: «Son' io!»[52] — сказал

он. Мы продолжали путь, не сказав ему ни слова.

— Нет ничего страшнее взбесившегося барана, — заметил де Марсе.

— Было бы просто жестоко оставлять нас под жутким впечатлением этого рассказа; мне все это будет сниться... — сказала г-жа де Портандюэр.

— А какова же была кара, постигшая первую страсть господина де Марсе? — спросил, улыбаясь, лорд Дэдлей.

— Шутки англичан всегда безобидны, — заметил Блонде.

Де Марсе, обращаясь ко мне, ответил:

— Об этом может нам рассказать господин Бьяншон[53], он видел, как эта женщина умирала.

— Да, — ответил я, — и смерть ее была одна из самых прекрасных, каких я когда-либо видел. Мы с герцогом провели всю ночь у изголовья умирающей; острое воспаление легких не оставляло никакой надежды. Накануне ее соборовали. Герцог дремал. Около четырех часов утра герцогиня проснулась и, дружески улыбаясь, подала мне трогательный знак, чтобы я не будил его, а между тем ведь она умирала! Она страшно исхудала, но черты лица и его овал сохранили дивную красоту. Это бледное лицо было прозрачным, как фарфоровая ваза, освещенная изнутри. Блестевшие глаза и лихорадочный румянец четко выделялись на нем, но все оно дышало мягкой прелестью и величавым покоем. Казалось, она жалеет герцога, и чувство это исходило из возвышенной нежности, которая с приближением смерти была беспредельна. Царила глубокая тишина. Комната, еле освещенная затененной лампой, была похожа на комнату всякого умирающего. В это время пробили часы. Герцог проснулся и пришел в отчаяние от того, что задремал. Я не заметил досадливого жеста, которым он выразил сожаление, что пропустил несколько мгновений из тех последних мгновений, которые ему суждено было провести с женой; и, несомненно, всякая другая женщина могла бы не понять его, но умирающая поняла, Этот государственный деятель, поглощенный делами Франции, отличался множеством странностей, из-за которых талантливых людей принимают за сумасшедших, меж тем как они объясняются тонкостью их организации и требованиями их ума. Он пересел в кресло подле кровати жены и стал пристально смотреть на нее. Умирающая с трудом взяла руку мужа, слабо пожала ее и чуть слышным, нежным и взволнованным голосом сказала: «Мой бедный друг, кто же теперь будет понимать тебя?» И глядя на него, она умерла.

— Истории, которые доктор рассказывает, производят глубокое впечатление, — заметил герцог де Реторе.

— И очень трогательное, — добавила мадемуазель де Туш.

— Ах, сударыня, — ответил доктор, — я храню в памяти и жуткие истории. Но для каждого рассказа нужна особая обстановка. Помните, как остроумно, по словам Шамфора[54], кто-то ответил герцогу де Фронсаку: «Чтобы оценить твою шутку, недостает бутылки шампанского».

— Но ведь уже два часа, и рассказ о Розине подготовил нас, — сказала хозяйка дома.

— Расскажите, господин Бьяншон, расскажите, — послышалось со всех сторон.

Доктор жестом выразил согласие, и тотчас воцарилось молчание.

— Шагах в ста от Вандома[55], на берегу Луары, — начал Бьяншон, — стоит ветхий, побуревший дом с очень высокой кровлей. Стоит он на отшибе, и близ него нет ни зловонного кожевенного завода, ни жалкой харчевни, какие встречаются на окраинах почти всех маленьких городов. Перед домом раскинулся большой сад, спускающийся к реке; буковые

деревья, в былое время подстриженные и тянувшиеся аллеями, разрослись в причудливом беспорядке. Кудрявый ивняк, поднимавшийся от самой воды, быстро вытянулся вверх и образовал изгородь, наполовину скрывающую дом. Так называемые сорные травы украсили сочной зеленью откос берега. Фруктовые деревья, за десять лет успевшие одичать, уже не приносят плодов, и их побеги образуют густую поросль. Ряды посаженных деревьев превратились в лиственные завесы. Дорожки, когда-то посыпавшиеся песком, теперь покрылись портулаком, да и следов-то этих дорожек не осталось. Стоя на вершине горы, где вздымаются развалины старинного замка герцогов Вандомских, — на единственном месте, откуда взору доступно проникнуть за эту ограду, — думаешь, что когда-то, давным-давно (даже трудно вообразить себе когда именно), этот земной уголок был отрадой какого-нибудь дворянина, занятого разведением роз или тюльпанов, словом, садовода и любителя редких плодов. С горы видна увитая зеленью беседка, точнее, ее развалины; там стоит стол, еще не совсем разрушенный временем. Вид этого заглохшего сада дает представление о скромных, безмятежных радостях, которыми наслаждаются в провинциальной тиши, — так по эпитафии на памятнике представляешь себе весь жизненный путь какого-нибудь почтенного купца. Благонамеренно христианская надпись на циферблате солнечных часов «Ultimam cogita»[56] навеивает чувство грусти и отрешенности. Кровля дома сильно обветшала, ставни всегда закрыты, балконы усеяны гнездами ласточек, двери неизменно заколочены. Высокие травы зелеными штрихами прочертили трещины каменного крыльца, железная оковка дверей заржавела. Ветер, солнце, зима, лето, снег источили дерево, покоробили доски, изъели все краски. Царящий здесь мертвенный покой нарушают лишь птицы, кошки, куницы, крысы да мыши, которым привольно здесь бегать, драться, грызться. Невидимая рука всюду начертала слово тайна. Если же вы, покорясь любопытству, вздумаете взглянуть на дом со стороны улицы, то увидите большие, сверху закругленные ворота, в которых озорники ребятишки проковыряли множество отверстий. Позже я узнал, что эти ворота были забиты уже десять лет. Посмотрев сквозь их пробоины, можно убедиться, что и во дворе такое же запустение, как в саду. Пучки травы пробиваются между каменными плитами. Огромные трещины бороздят стены, почерневшие зубцы которых покрылись вьющимися растениями. Ступени крыльца разошлись, шнур от звонка истлел, водосточные желоба разбиты. «Что за пламя, низвергнувшееся с небес, пронеслось здесь? Что за судилище обрекло смерти эту обитель? Богохульствовали здесь? Или здесь предавали Францию?» — спрашиваешь себя. Но пресмыкающиеся ползут здесь, не отвечая. Этот пустой и заброшенный дом — непроницаемая тайна, разгадать которую невозможно. Когда-то встарь это было небольшое ленное владение, называвшееся Гранд-Бретеш. В пору моего пребывания в Вандоме, когда Деппен[57] оставил меня там для наблюдения за одним богатым пациентом, созерцание этого странного жилища стало одним из моих живейших удовольствий. Ведь оно было значительно выше обычной руины! С руинами связываются воспоминания о чем-то неопровержимо подлинном, эта же обитель, еще не рухнувшая, но постепенно разрушаемая чьей-то беспощадной рукой, скрывала тайну, скрывала неведомый замысел или, по меньшей мере, прихоть. Нередко по вечерам я подходил к одичавшей ивовой изгороди, ограждавшей дом. Не обращая внимания на царапины, я пробирался через кустарник в этот покинутый сад, в это владение, которое не было больше ни частным, ни общественным. Часами я всматривался в царивший там хаос. Но я ни за что не стал бы расспрашивать какого-нибудь болтливового вандомского обывателя об истории, с которой, несомненно, было связано это своеобразное зрелище. Я сам придумывал ряд упоительных приключений, я отдавался здесь тихим радостям грусти, восхищавшим меня. Если бы я узнал причину этой заброшенности, — быть может, пошлую, — я лишился бы опьянявшей меня неизъяснимой поэзии. Уединенный приют вызывал в моем воображении разнообразнейшие картины человеческого бытия, омраченного печалью: то мне рисовался монастырь, но без монахов, то покой кладбища, но без усопших, которые говорят с нами языком надгробных надписей. Сегодня мне чудился тут дом прокаженных, завтра — дом Атридов[58], но чаще всего — провинциальная жизнь с ее отсталыми взглядами, с ее сонным бытием. Не раз плакал я там, но никогда не смеялся. Нередко я ощущал невольный ужас, слыша над головой глухой свист крыльев диких голубей. Почва под ногами была сырая. Надо было остерегаться ящериц, змей, лягушек, которым

привольно жилось в этом саду. Главное, надо было сносить холод, который окутывал ледяным плащом, подобно руке Командора, обнявшей шею Дон-Жуана. Однажды вечером меня охватил ужас: ветер повернул старый заржавевший флюгер, и его скрип показался мне стоном, вырвавшимся у дома, в тот самый миг, когда в моем воображении завершалась мрачная драма, объяснявшая сущность этой воплощенной в камне скорби. Я вернулся в гостиницу во власти мрачных дум. Едва я поужинал, как ко мне в комнату с таинственным видом вошла хозяйка и сказала:

— Сударь, вас спрашивает господин Реньо.

— Господин Реньо? Кто это такой?

— Вы не знаете, кто такой господин Реньо? Странно, — проговорила она уходя.

И вдруг передо мной вырос долговязый хилый человек в черном, с шляпой в руке, появившийся, словно баран, готовый броситься на врага. Я увидел покатый лоб, клинообразную голову и какое-то серое лицо, похожее на стакан с мутной водой. Вот такие бывают привратники у министров. На этом человеке был поношенный сюртук, сильно потертый по швам, но в жабо его сорочки сверкал бриллиант, а в ушах были золотые серьги.

— Сударь, с кем имею честь? — спросил я.

Он сел на стул, придвинулся к огню, положил шляпу на стол и, потирая руки, ответил:

— Какой холод! Сударь, моя фамилия Реньо.

Я поклонился, подумав: «Ну и что же?»

— Я — вандомский нотариус, — продолжал он.

— Очень приятно, сударь, — воскликнул я, — но по некоторым личным соображениям я отнюдь не собираюсь писать завещания.

— Минуточку! — сказал он, подняв руку, словно призывал меня к молчанию, — позвольте, сударь, позвольте! Мне стало известно, что вы иногда прогуливаетесь в парке Гранд-Бретеш.

— Прогуливаюсь, сударь.

— Минуточку! — и он повторил тот же жест. — Тем самым вы совершаете правонарушение. Сударь, я пришел к вам во имя покойной графини де Мерэ и в качестве ее душеприказчика с просьбой прекратить эти прогулки. Минуточку! Я не дикарь и отнюдь не собираюсь обвинять вас в преступлении. К тому же вполне естественно, что вы не подозреваете причин, которые заставляют меня не препятствовать разрушению самого прекрасного в Вандоме особняка. Однако, сударь, вы как будто человек образованный и должны знать, что закон предусматривает строгие кары за вторжение в частное владение, находящееся на запоре. Изгородь — та же стена. Правда, извинением вашему любопытству может служить состояние, в котором находится дом. Я был бы очень рад разрешить вам сколько угодно ходить туда, однако, являясь душеприказчиком покойной владелицы, я обязан, сударь, просить вас прекратить посещение ее парка. Я и сам, сударь, с того часа, как вскрыл завещание, не переступал порога этого дома, который, как я имел честь доложить вам, является частью наследства, оставшегося после госпожи де Мерэ. Мы только переписали все окна и двери, чтобы установить размер налога, который я и плачу ежегодно из сумм, завещанных на это покойной графиней. Ах, сударь, ее завещание наделало немало шума в Вандоме!

Тут достойный человек умолк и высморкался. Я с уважением отнесся к его болтливости, прекрасно понимая, что завещательное распоряжение госпожи де Мерэ является самым

значительным событием его жизни, основой его репутации, всей его славы и благоденствия. Приходилось сказать «прости» моим чудесным мечтаниям, моим выдумкам, и я поддался искушению узнать истину от служителя закона.

— Сударь, — спросил я, — если вы не сочтете это нескромностью с моей стороны, разрешите спросить у вас о причинах столь странного завещания?

При этих словах на лице нотариуса мелькнуло выражение, появляющееся у людей, когда они садятся на своего любимого конька. Он несколько фатовато поправил воротничок сорочки, вынул табакерку, открыл ее, предложил мне табаку и, когда я отказался, взял большую понюшку. Он был совершенно счастлив. Человек, не имеющий любимого конька, не подозревает, каких наслаждений он лишает себя. Любимый конек — это нечто среднее между страстью и помешательством. В эту минуту я во всей полноте понял Стерна и целиком постиг ту радость, с которой дядюшка Тоби, при помощи Трима, сидел на своего боевого коня[59].

— Сударь, — сказал мне господин Реньо, — я был первым клерком у Рогена[60], в Париже. Превосходная контора! Вы о ней, вероятно, слышали? Нет? А между тем несчастное банкротство сделало ее знаменитой. Не имея достаточно средств, чтобы устроиться в Париже, где в 1816 году цены на нотариальные конторы сильно возросли, я приехал сюда с целью купить контору моего предшественника. В Вандоме у меня были родственники, и среди них очень богатая тетка, на дочери которой я женился. Сударь, — продолжал он, передохнув, — спустя три месяца после того, как я был утвержден господином министром юстиции, однажды вечером, когда я уже собирался ложиться спать (я тогда еще не был женат), меня вызвали к графине де Мерэ, в ее поместье Мерэ. Служанка, достойная девица, которая в настоящее время служит в этой гостинице, ждала меня у ворот в коляске графини. Минуточку! Надо вам сказать, сударь, что граф де Мерэ за два месяца до того, как я поселился здесь, уехал в Париж и там умер. Кончил он плохо, так как стал предаваться всевозможным излишествам. Понимаете? В день его отъезда графиня де Мерэ покинула Гранд-Бретеш и вывезла оттуда всю обстановку. Некоторые утверждали, будто она даже сожгла мебель, ковры, одним словом все предметы, кои составляют обстановку дома, ныне находящегося во владении вышеупомянутого лица... Постойте, что это я, однако, говорю?.. Извините, мне показалось, что я диктую арендный договор... Итак, она будто бы сожгла всю мебель на лугу в Мерэ. Бывали вы в Мерэ, сударь? Нет, конечно, — ответил он за меня, — ах, это очень живописное место! До отъезда из Гранд-Бретеш, — продолжал он, слегка кивнув головой, — граф с графиней месяца три вели несколько странный образ жизни. Они перестали принимать гостей, жили на разных половинах: графиня в нижнем этаже, граф — наверху. Оставшись одна, графиня выходила только в церковь; она отказывалась принимать друзей и подруг, приезжавших навестить ее. Когда она покинула Гранд-Бретеш, чтобы переехать в Мерэ, она уже сильно изменилась. Драгоценная женщина! Я говорю «драгоценная», так как этот бриллиант получен мною от нее; но я ее видел, впрочем, один-единственный раз... Итак, эта добрая женщина была тяжело больна. Видимо, она считала свою болезнь неизлечимой, ибо скончалась, так и не прибегнув к помощи врача. Правда, многие из наших дам полагали, что она немножко была не в своем уме. Поэтому мое любопытство, сударь, было сильно возбуждено, когда я узнал, что госпожа де Мерэ нуждается в моих услугах. Да и не я один интересовался этой историей. В тот же вечер, хотя час был поздний, весь город уже знал, что я приглашен в Мерэ. На вопросы, которые я задавал в пути служанке, она отвечала очень неопределенно. Все же она сказала, что днем ее госпожу исповедовал кюре и что вряд ли она доживет до утра. Часов в одиннадцать мы приехали в замок. Я поднялся по большой лестнице, затем, пройдя целую анфиладу высоких темных покоев, чертовски холодных и сырых, добрался до парадной спальни, где находилась графиня. По слухам, носившимся об этой женщине, — сударь, я никогда не закончу своей истории, если начну передавать все рассказы, ходившие на ее счет, — я воображал, что увижу светскую львицу. Представьте же себе, что я с трудом разглядел ее на огромной кровати, где она лежала. Правда, этот обширный покой с фризами в старорежимном стиле, до такой степени запыленными, что при

одном взгляде на них уже хотелось чихать, освещался только одной масляной лампой. Ах, да! Ведь вы никогда не бывали в Мерэ! Так вот, сударь, там была старинная кровать, с балдахинном из набивной узорчатой материи; возле кровати стоял ночной столик, а на нем лежало «Подражание Христу»[61]. Как книгу, так и лампу, замечу в скобках, я впоследствии приобрел для жены. Тут же рядом стояло мягкое кресло для служанки и два стула. Камин не топился. Вот и вся обстановка. В инвентарной описи она не заняла бы и десяти строк. Ах, сударь, если бы вы видели, как довелось увидеть мне, эту огромную спальню, затянутую коричневым штофом, вам показалось бы, что вы перенеслись на страницу какого-то романа. От всего веяло ледяным холодом, больше того, веяло смертью, — проговорил он, театральным жестом воздев руку, и сделал паузу. — Лишь подойдя вплотную к кровати и пристально всмотревшись, — продолжал он, — я разглядел, наконец, госпожу де Мерэ; да и то благодаря тому, что свет от лампы падал на подушки. Лицо у графини было желтое, как воск, и напоминало сжатый кулачок. На ней был кружевной чепчик, из-под которого выбивались прекрасные, но совсем седые, белые как лунь волосы. Она приподнялась, хотя это стоило ей, видимо, невероятных усилий. Большие черные глаза, провалившиеся от болезни, уже почти угасшие, смотрели неподвижным взглядом. «Садитесь», — прошептала она, чуть приподняв брови. Ее лоб покрылся испариной. Худые руки были словно кости, обтянутые тонкой кожей; на них отчетливо проступали все вены, мышцы. Когда-то она была, наверно, красавицей. Но в ту минуту при взгляде на нее какое-то неопишное чувство овладело мною. По словам людей, облачавших ее в саван, они просто ужасались ее худобе. Словом, то была жуткая картина. Болезнь так изглодала эту женщину, что она казалась призраком. Когда она заговорила, синеватые губы ее как будто не шевелились. Хотя моя профессия и приучила меня к подобным зрелищам и мне не раз доводилось у изголовья умирающих скреплять их завещания, признаюсь вам, что слезы родных и агония этих умирающих не производили на меня такого тяжелого впечатления, как смерть этой одинокой, молчаливой женщины в ее обширном замке. Не слышно было ни малейшего звука, даже не видно было легкого движения покрывала, которое приподнималось бы от дыхания больной. Я стоял неподвижно, глядя на нее в каком-то оцепенении. Я вижу ее как сейчас. Наконец ее большие глаза ожили, она попыталась поднять правую руку, но рука бессильно упала на постель, и чуть слышный шепот, словно вздох, слетел с ее уст.

— Я с нетерпением ждала вас! — Ее щеки порозовели; ей трудно было говорить.

— Сударыня... — начал было я.

Она сделала мне знак молчать. А тут еще старуха служанка встала с кресла и шепнула мне:

— Молчите! Графиня не выносит ни малейшего шума. Ваши слова могут ее взволновать.

Я сел. Спустя несколько секунд госпожа де Мерэ собрала остаток сил и с бесконечным трудом просунула правую руку под подушку. Секунду она лежала неподвижно, потом сделала последнее усилие и вытащила из-под подушки запечатанный конверт; крупные капли пота выступили у нее на лбу.

— Я доверяю вам мое завещание. О боже! боже мой! — простонала она.

И это был конец. Она взяла распятие, лежавшее на постели, судорожным движением поднесла его к губам и умерла. Право, как вспомню, какие у нее были глаза в смертную минуту, мне до сих пор делается не по себе. Наверное она сильно страдала, но в ее последнем взгляде светилась радость, и это чувство запечатлелось в ее застывших глазах. Я унес завещание; вскрыв его, я узнал, что госпожа де Мерэ назначила меня своим душеприказчиком. Все свое имущество, за исключением некоторых особо оговоренных сумм, она завещала больнице в Вандоме. А относительно Гранд-Бретеш она распорядилась так. Она предписывала оставить дом в течение пятидесяти лет после ее смерти в том самом виде, в каком он окажется в день ее кончины, воспрещала доступ в него кому бы то ни было,

не позволяла производить ни малейших починок этого дома и даже выделила определенную сумму на жалованье сторожам, если в них будет надобность, чтобы в точности выполнялась ее последняя воля. По истечении указанного в завещании срока, если воля покойной будет соблюдена, дом должен перейти к моим наследникам, — вам, сударь, наверное, известно, что сами нотариусы не имеют права наследовать по завещанию своих клиентов. Если же воля завещательницы будет нарушена, то все переходит к законным наследникам с тем, однако, что будет выполнено дополнительное завещательное распоряжение, каковое должно быть вскрыто по истечении указанных пятидесяти лет. До сей поры завещание не было опротестовано, следовательно...

Долговязый нотариус, не договорив фразы, с торжествующим видом посмотрел на меня, а я привел его в полный восторг, сказав ему несколько приятных слов.

— Сударь, — сказал я, — вы произвели на меня своим рассказом такое сильное впечатление, что мне кажется, будто я вижу перед собой эту умирающую, с лицом белее простыни; горящие глаза ее внушают мне ужас. Она будет сниться мне сегодня всю ночь. Но, по всей вероятности, у вас возникли кое-какие догадки по поводу этого странного завещания?

— Сударь, — ответил господин Реньо с забавной важностью, — я никогда не позволю себе критиковать поведение лиц, удостоивших меня таким подарком, как вот эта бриллиантовая булавка.

Вскоре, однако, мне удалось преодолеть щепетильность вандомского нотариуса, и господин Реньо сообщил мне — разумеется, со множеством отступлений — соображения глубоких политиков обоюбого пола, мнения которых в Вандоме неоспоримы, как закон. Но эти соображения были столь противоречивы, столь путаны, что я, невзирая на весь мой интерес к этой достоверной истории, чуть не задремал. Глухой, однообразный голос нотариуса, привыкшего, видимо, прислушиваться только к собственным словам и заставлять выслушивать себя своих клиентов и сограждан, усыпил меня, восторжествовав над моим любопытством. К счастью, господин Реньо собрался уходить.

— Ах, сударь, — сказал он, спускаясь по лестнице, — многие хотели бы прожить еще сорок пять лет, но... минуточку!.. — и он лукаво приложил указательный палец правой руки к ноздре, словно хотел сказать «внимание!». — Чтобы столько прожить, надо быть моложе шестидесяти лет!

Я закрыл за ним дверь, выведенный из дремоты его последними словами, которые, очевидно, казались ему необычайно остроумными. Затем я уселся в кресло, поставил ноги на каминную решетку и принялся воображать роман в духе госпожи Радклиф[62], построенный на юридических данных нотариуса Реньо, как вдруг дверь моей комнаты отворилась от энергичного прикосновения ловкой женской руки. Вошла моя хозяйка, полная, жизнерадостная, добродушная женщина, не исполнившая своего предназначения: это была настоящая фламандка, ее следовало бы запечатлеть на одном из полотен Тенирса.

— Ну что, сударь, — сказала она, — господин Реньо, верно, выложил вам свою историю о Гранд-Бретеш?

— Да, тетушка Лепа.

— Что же он вам рассказал?

Я вкратце повторил ей смутную и бесцветную повесть о госпоже де Мерэ. При каждом слове она все больше настораживалась, глядя на меня с пытливостью трактирщицы, — это качество является чем-то средним между чутьем жандарма, хитростью шпиона и лукавством купца.

— Дорогая тетушка Лепка, — добавил я, кончив рассказ, — мне кажется, что вы знаете еще кое-что... Иначе зачем бы вам сейчас прийти ко мне?

— Ах, честное слово, нет! Это так же верно, как то, что я зовусь Лепка.

— Не клянись! По глазам вижу, что вам известна какая-то тайна. Вы знавали господина де Мерэ? Что это был за человек?

— Боже мой, господин де Мерэ был красавец мужчина, такой высокий ростом, что его взглядом не охватишь. Настоящий пикардийский дворянин! А уж нравный! Чуть что, вспыхнет как порох, — так у нас здесь говорят. За все он всегда расплачивался наличными, чтобы ни с кем не иметь осложнений. Очень уж он был горячего нрава. Все наши дамы были от него без ума.

— Потому что он был горячего нрава? — спросил я хозяйку.

— Может быть, и так, — ответила она. — Сами понимаете, сударь, за какого-нибудь обыкновенного человека госпожа де Мерэ не пошла бы, — не в обиду будь сказано другим, она была самая красивая и самая богатая невеста во всей Вандомской округе. У нее было тысяч двадцать ренты. Весь город собрался на ее свадьбу. Новобрачная была такая хорошенькая, такая приветливая, — просто прелесть, не женщина, а золото! Ах, какая это была пара!

— Брак был счастливый?

— Да как вам сказать?... И да, и нет... наверняка-то мы ничего не знали, сами понимаете, ведь знатные господа с нами не бывают на короткой ноге. Госпожа де Мерэ была женщина добрая, ласковая, пожалуй, ей иногда не сладко жилось из-за крутого нрава мужа. А он был гордый, но мы все же любили его. Ну, уж такой он был! Дворянин... сами понимаете...

— Однако должна же была случиться какая-то беда, чтобы господа де Мерэ так скоро разошлись?

— Я не сказала, что случилась беда, сударь. Об этом я ничего не знаю.

— Ах, вот как? Теперь я уверен, что вы все знаете!

— Ну, ладно, сударь, я все вам расскажу. Когда я увидела, что к вам идет господин Реньо, я сразу поняла, что разговор пойдет о госпоже де Мерэ и об ее усадьбе. И вот надумала я, сударь, посоветоваться с вами; вы человек, видно, благоразумный и плохого не посоветуете такой незащищенной женщине, как я. Я ведь никогда никому не делала зла, а все-таки совесть меня мучает. Никому из здешних жителей я не смею признаться. Они все сплетники и не умеют держать язык за зубами. А к вам, сударь, я привыкла, — другие-то постояльцы никогда не жили у нас так долго, как вы, и мне некому было рассказать про эти пятнадцать тысяч франков...

— Дорогая тетушка Лепка, — прервал я поток ее красноречия, — если ваша исповедь может доставить мне какие-нибудь неприятности, то я ни за какие блага в мире не хочу ее выслушивать.

— Не бойтесь, — перебила она меня, — вот сейчас сами увидите.

Настойчивость моей почтенной хозяйки навела меня на мысль, что я не первый, кому она доверяет тайну, единственным хранителем которой я должен был явиться. Я стал слушать.

— Сударь, когда император послал сюда на жительство военнопленных и прочих иностранцев, то у меня за счет казны поселили одного молодого испанца, — его оставили в

Вандоме под честное слово. Но, хоть он и дал честное слово, что не убежит, а все равно каждый день должен был являться в префектуру. А испанец-то был знатного рода, уж поверьте. Имя у него кончалось на «ос» и на «диа», что-то вроде Багос де Фередиа[63]. Оно записано у меня в книге постояльцев; если хотите, можете взглянуть. Вот уж красивый был молодой человек! А говорят, что все испанцы — уроды. Ростом был невелик — пять футов с небольшим[64], но сложен был прекрасно. Руки у него были маленькие, и уж как он их холил! Поглядели бы вы, сколько у него было разных щеточек, не меньше, чем у женщин, для всяких прихорашиваний. Волосы у него были густые, черные, глаза огненные, цвет лица довольно смуглый, но мне это очень нравилось. Белье он косил очень тонкое, я такого ни у кого не видывала, хотя у меня и останавливались важные особы, и между прочим генерал Бертран [65], герцог д'Абрантес[66] с супругой, господин Деказ[67] и даже сам король испанский[68]. Кушал он мало, зато был так учтив, так любезен, что сердиться на него было невозможно. Да, очень он мне пришелся по душе, хотя никак, бывало, с ним не разговоришься, — обращаешься к нему, он не отвечает: такая уж у него была странность, вроде чудачества; говорят, испанцы все такие. Он, словно священник, все читал молитвенник, исправно ходил к обедне и на все прочие богослужения. В церкви, — мы потом только обратили на это внимание, — он всегда садился на одно и то же место, в двух шагах от часовни госпожи де Мерэ. Но так как он сел туда в первый же раз, когда пришел в церковь, то никто не подумал, что он делал это с умыслом. К тому же бедняга сидел, все время уткнувшись в молитвенник. В ту пору, сударь, он по вечерам прогуливался на горе, среди развалин замка. Только и было у него, несчастного, развлечения, — там он вспоминал свою родину. Говорят, в Испании везде горы. С первых же дней своего плена он стал приходить домой поздно. Я сильно встревожилась, — вижу, что он возвращается только в полночь; но потом все мы привыкли к его причудам. Он взял ключ от входных дверей, и мы его больше не дожидались. Жил он в нашем доме на улице Казерн, и вот однажды один из наших конюхов сказал нам, что как-то вечером, когда он водил лошадей на водопой, ему показалось, будто вдали купается в реке наш испанский гранд, плывет, словно рыба. Когда постоялец вернулся домой, я посоветовала ему остерегаться водорослей. Мне показалось, — он очень недоволен, досадует, что его заметили на реке. И что же, сударь, как-то днем, вернее утром, комната его оказалась пуста, — он не вернулся. Я все обшарила и нашла в ящике стола записку, пятьдесят испанских червонцев — значит, около пяти тысяч франков, да на десять тысяч франков бриллиантов в запечатанной коробочке. В записке было сказано, что в случае, если он не вернется, бриллианты и деньги он оставляет нам с тем, однако, условием, чтобы мы заказали молебен об его спасении и благополучии. Мой муж был еще в ту пору жив. Он побежал на розыски. И вот какие странные дела! Он нашел одежду испанца под большим камнем около свай, на берегу реки, вблизи замка, почти насупротив Гранд-Бретеш. Муж отправился туда так рано, что его никто и не заметил. Он принес платье испанца домой, а как прочел записку, сжег его, и мы, согласно желанию графа Фередиа, заявили, что он бежал. Супрефект поставил на ноги всю жандармерию, но — не тут-то было! Его так и не поймали. Лепа решил, что испанец утонул. А я, сударь, по-другому думаю: мне кажется, тут замешана госпожа де Мерэ, — ведь Розали как-то говорила мне, что у ее хозяйки было распятие из черного дерева и серебра, и она так дорожила этим распятием, что велела положить его с собой в гроб, а между тем в первые дни, как господин Фередиа поселился у нас, я видела у него точно такое распятие, а потом оно куда-то исчезло. Теперь скажите, сударь, правда ведь, что я могу со спокойной совестью взять эти пятнадцать тысяч франков, что оставил мне испанец? Ведь они принадлежат мне законно?

— Конечно! Ну, а пробовали вы расспросить Розали?

— Как же, сударь, пробовала... Но что поделаешь! Молчит девушка. Она что-то знает, да у нее ничего не выпытаешь.

Поговорив со мной еще немного, хозяйка удалилась, оставив меня во власти смутных и мрачных дум, романтического любопытства и суеверного ужаса, который сродни глубокому

чувству, овладевающему нами, когда мы ночью входим в темную церковь и замечаем вдали, под высокими сводами, слабый свет; скользит чья-то черная фигура... слышится шуршанье, то ли платья, то ли сутаны... и мы вздрагиваем. Гранд-Бретеш и его высокие травы, его заколоченные окна, его заржавевшие железные засовы, запертые двери, пустынные покои вдруг возникли предо мной какой-то фантастической страшной сказкой. Я мысленно пытался проникнуть в таинственную обитель, стараясь распутать узел этой сложной истории, этой драмы, погубившей трех человек. Розали стала для меня самым интересным человеком в Вандоме. Присматриваясь к ней, я заметил следы затаенной думы на ее пышущем здоровьем, румяном лице. Что-то говорило в ней толи об угрызениях совести, толи о надежде; все в ней свидетельствовало о тайне, как облик исступленно молящейся святоши или девушки-детоубийцы, которой непрестанно слышится последний крик ее младенца. Однако повадки Розали были грубоваты и наивны, бесхитростная улыбка не таила в себе ничего преступного, и вы сочли бы ее ни в чем не повинной простушкой при одном взгляде на ее большой сине-красный клетчатый платок, прикрывавший пышную грудь, туго стянутую платьем в белую и лиловую полоску. Нет, решил я, не уеду из Вандома до тех пор, пока не узнаю истории Гранд-Бретеш! Чтобы достичь цели, я даже сделаюсь, если понадобится любовником Розали.

— Розали, — обратился я к ней однажды вечером.

— Что угодно, сударь?

— Вы не замужем?

Она слегка вздрогнула.

— О! Женихов много! Да зачем замуж идти? Не хочу несчастной быть, — ответила она смеясь.

Она быстро справилась с охватившим ее душевным беспокойством, ибо все женщины, начиная от знатных дам и кончая служанками в харчевне, в достаточной мере наделены самообладанием.

— Вы такая свеженькая, такая миловидная, от поклонников у вас, вероятно, отбоя нет; скажите же, почему вы после смерти госпожи де Мерэ поступили служанкой в эту гостиницу? Неужели она не завещала вам хотя бы самой скромной ренты?

— Ну, конечно, сударь, завещала. А что же мне не служить здесь? У меня лучшее место во всем Вандоме.

Судьи и адвокаты именуют такой ответ «уклончивым». Во всей этой истории Розали являлась, на мой взгляд, центром шахматной доски! К ней тянулись все нити тайны и ее разгадки; она казалась мне запутанной в этот узел. Теперь вопрос шел уже не о вульгарной попытке обольстить ее; эта девушка таила в себе развязку романа, и она стала для меня предметом неусыпного внимания. Присматриваясь к Розали, я открыл в ней — это всегда бывает, когда на женщине сосредоточиваются наши мысли, — множество достоинств. Она была опрятна, щеголевата и, разумеется, красива, — об этом и говорить нечего; вскоре я нашел в ней все то очарование, которым страсть наделяет в наших глазах женщину, какое бы положение она ни занимала. Две недели спустя после посещения нотариуса, как-то поздней ночью, точнее, ранним утром, ибо было еще очень рано, я сказал Розали:

— Расскажи мне все, что ты знаешь о госпоже де Мерэ.

— Ох! — воскликнула она с ужасом, — Не просите меня об этом, господин Орас.

Ее красивое, живое лицо омрачилось, румянец поблек, глаза утратили свой наивный, мягкий

блеск. Я настаивал.

— Ну, хорошо, пусть. Раз вы так хотите, я все вам расскажу, но только сохраните это в тайне.

— Будь спокойна, дорогая, я сохраню все твои секреты с безукоризненной честностью вора; это честность самая надежная.

— Нет уж, — пошутила она, — я лучше положусь на вашу собственную честность.

Тут она поправила на себе шаль и устроилась поудобнее. Ведь когда приступаешь к рассказу, необходимо, чтобы все располагало к доверию и спокойствию. Самые интересные истории рассказываются в уютной обстановке, вот как сейчас, когда мы собрались вокруг этого стола. Видано ли, чтобы кто-нибудь рассказывал стоя или натошак? Если бы мне пришлось в точности передать многословное красноречие Розали, вряд ли хватило бы для него и целой книги. Но поскольку ее сбивчивый рассказ дополняет болтовню нотариуса и болтовню госпожи Лепа, как средний член арифметической пропорции дополняет два крайних ее члена, необходимо вкратце изложить его. Итак, я расскажу лишь самое существенное.

— Комната, которую госпожа де Мерэ занимала в Бретеш, находилась в нижнем этаже; устроенный в стене чуланчик, площадью фута в четыре, служил ей гардеробной. Месяца за три до происшествия, о котором пойдет речь, госпожа де Мерэ так серьезно заболела, что муж не решался беспокоить ее и устроился в другой комнате, этажом выше. Однажды вечером из-за случайного совпадения обстоятельств, которого никак нельзя предвидеть, он вернулся двумя часами позже обычного из клуба, куда всегда ходил читать газеты и толковать о политике. Жена была уверена, что он уже дома, уже лег в постель и спит. Но вторжение неприятеля во Францию вызвало между посетителями клуба горячие споры, партия в бильярд проходила азартно; граф проиграл сорок франков, — сумму огромную для Вандома, где все скряжничают и где нравы отличаются похвальной скромностью; эта скромность, быть может, и становится источником истинного счастья. Жаль, что ни один парижанин не ценит его. С некоторых пор господин де Мерэ довольствовался тем, что осведомлялся у Розали, легла ли жена спать, и, неизменно получая утвердительный ответ, тотчас же поднимался к себе; привычка и доверие делали его недалёковидным. На этот раз ему пришла, однако, фантазия зайти к жене, чтобы поделиться своими злоключениями, а может быть, и найти у нее утешение. За обедом он заметил, что госпожа де Мерэ одета очень кокетливо; возвращаясь из клуба, он думал о том, что жена его, как видно, поправилась и после болезни очень похорошела; как все мужья, он заметил это несколько поздно. Вместо того чтобы позвать Розали, которая в это время была на кухне и следила за тем, как кучер с кухаркой разыгрывают сложную партию в бриск, господин де Мерэ направился в комнату жены, осветив себе путь большим фонарем, который он поставил на первую ступеньку лестницы. Его шаги, которые нетрудно было узнать, гулко отдавались под сводами коридора. В тот момент, когда он отворял дверь в комнату жены, ему послышалось, будто дверца чуланчика, о котором я упоминал выше, захлопнулась. Но когда он вошел, госпожа де Мерэ была одна; она стояла возле камина. Муж простодушно решил про себя, что в чуланчике находится Розали. Однако подозрение, словно колокольчик звеневшее у него над ухом, пробудило в нем глухое недоверие. Он взглянул на жену и прочел в ее глазах замешательство и какой-то злобный испуг. «Как вы поздно вернулись», — сказала она. Ее голос, обычно такой чистый и мягкий, показался ему слегка изменившимся. Господин де Мерэ ничего не ответил, так как в эту минуту вошла Розали. Все это было для него словно удар молнии. Скрестив на груди руки, он машинально принялся ходить по комнате от окна к окну.

— У вас какие-нибудь неприятности, или вам нездоровится? — робко спросила его жена, в то время как Розали помогала ей раздеваться.

Он промолчал.

— Ступайте, — приказала госпожа де Мерэ служанке, — я сама закручу папильотки.

Одного взгляда на лицо мужа ей было достаточно, чтобы почувствовать, что произошло что-то непоправимое, и ей хотелось остаться с ним наедине. Когда Розали ушла или сделала вид, что ушла (она задержалась на несколько мгновений в коридоре), господин де Мерэ сел около жены и холодно спросил:

— Сударыня, в вашей гардеробной кто-нибудь есть?

Она спокойно взглянула на мужа и просто ответила:

— Никого нет.

Это «нет» повергло господина де Мерэ в отчаяние. Он не поверил, а между тем никогда еще жена не казалась ему такой чистой, такой непорочной, как в эту минуту. Он встал и пошел к гардеробной, намереваясь открыть дверь. Госпожа де Мерэ схватила его за руку, удержала и, печально взглянув на него, сказала непривычно взволнованным голосом:

— Если вы там никого не найдете, то знайте, между нами все будет кончено!

Неизъяснимое достоинство, которым дышало все поведение жены, вернуло графу его глубокое уважение к ней и внушило ему одно из тех решений, которым не хватает только более обширной арены, чтобы стать бессмертным.

— Хорошо, Жозефина, — сказал он, — я не войду туда. В том и другом случае нам пришлось бы расстаться навеки. Слушай, я знаю, как чиста твоя душа, знаю, что ты ведешь жизнь праведницы, ты не совершишь смертного греха даже ради спасения своей жизни.

При этих словах госпожа де Мерэ растерянно взглянула на мужа.

— Возьми распятие и поклянись мне перед богом, что там никого нет. Я поверю тебе и не открою эту дверь.

Госпожа де Мерэ взяла распятие.

— Клянусь, — проговорила она.

— Громче! — приказал муж. — Скажи: «Клянусь перед богом, что там никого нет».

Не дрогнув, она повторила эти слова.

— Отлично, — холодно сказал господин де Мерэ.

Наступило короткое молчание.

— Какая прекрасная вещь, я прежде не видел ее у вас. Очень тонкая работа, — заметил господин де Мерэ, разглядывая распятие из черного дерева, отделанное серебром.

— Я купила его у Дювивье. В прошлом году, когда отряд пленных проходил через Вандом, он приобрел его у одного набожного испанца.

— Вот как! — сказал господин де Мерэ, повесив распятие на прежнее место.

Он позвонил. Розали не замедлила явиться. Господин де Мерэ быстро пошел ей навстречу, отвел ее к окну, выходящему в сад, и, понизив голос, сказал:

— Мне известно, что Горанфло[69] мечтает на тебе жениться и только бедность препятствует вашему браку. Ты сказала ему, что выйдешь за него замуж лишь тогда, когда он станет

подрядчиком строительных работ. Так вот, сходи за ним, приведи его сюда. Пусть захватит с собой мастеров и прочий инструмент. Постарайся никого не разбудить в доме, кроме него. Вознаграждение превысит его мечты. Но смотри, выйдя отсюда, не болтай, иначе... — Он нахмурил брови.

Розали пошла было, но он вернул ее,

— Возьми мой ключ.

— Жан! — позвал он на весь коридор.

Жан, бывший одновременно и кучером и доверенным лицом графа, бросил карты и явился.

— Ложитесь все спать, — сказал хозяин и, сделав ему знак приблизиться, шепотом добавил: — Когда все уснут, — уснут, — понимаешь? — доложи мне об этом.

Отдавая это приказание, господин де Мерэ не спускал глаз с жены, затем спокойно сел около нее, возле камина, и стал рассказывать о партии в бильярд и о спорах в клубе. Когда Розали вернулась, она застала супругов за дружеской беседой. Незадолго перед тем граф отделал потолки во всех парадных комнатах нижнего этажа. В Вандоме очень мало гипса, а расходы по доставке сильно удорожают его; поэтому господин де Мерэ закупил гипса с избытком, будучи уверен, что излишки всегда у него кто-нибудь купит. Это обстоятельство внушило ему замысел, который он и привел в исполнение.

— Сударь, Горанфло пришел, — тихо доложила Розали.

— Пусть войдет, — ответил граф.

Госпожа де Мерэ при виде каменщика слегка побледнела.

— Горанфло, — сказал муж, — сходи за кирпичом, принеси сюда столько, чтобы хватило заложить дверь этого чулана. Возьми гипс, который остался, и оштукатурь стену. — Затем, подождав к себе ближе каменщика и Розали, он тихо добавил:

— Слушай, Горанфло, сегодня ночью ты будешь работать здесь. А завтра утром получишь пропуск, с которым уедешь за границу, — в тот город, который я тебе укажу. На дорогу я дам тебе шесть тысяч франков. В этом городе ты проживешь десять лет. Если тебе там не понравится, можешь переехать в другой город, но только в той же стране. Поезжай через Париж и жди меня там. В Париже я дам тебе вексель еще на шесть тысяч франков, которые будут тебе выплачены при твоём возвращении, в том случае, если ты точно выполнишь наш договор. За это ты должен хранить молчание обо всем, что будешь делать здесь в эту ночь. Что же касается тебя, Розали, ты получишь десять тысяч франков. Деньги будут выплачены тебе в день свадьбы, при условии, что ты выйдешь замуж за Горанфло. Но если вы хотите, чтобы ваша свадьба состоялась, вы должны молчать. Иначе — никакого приданого.

— Розали, — позвала госпожа де Мерэ, — причеши меня.

Муж спокойно прохаживался по комнате, наблюдая за дверью, за каменщиком и за женой, но не выказывал при этом оскорбительного недоверия. В ходе работы Горанфло приходилось стучать. Госпожа де Мерэ воспользовалась мгновением, когда он сбрасывал кирпич, а муж находился на другом конце комнаты, и шепнула Розали:

— Получишь тысячу франков ренты, дорогая, если сумеешь шепнуть Горанфло, чтобы он оставил внизу отверстие, — и вслух спокойно добавила: — Иди же, помоги ему!

Супруги безмолвно сидели все время, пока Горанфло замуровывал дверь. Со стороны мужа это молчание было преднамеренным: он не хотел дать жене возможность бросить

какую-нибудь фразу, которая могла иметь двойкий смысл. А госпожа де Мерэ молчала из страха или из гордости. Стена была воздвигнута до половины, и тут хитрый каменщик воспользовался моментом, когда господин де Мерэ стоял к нему спиной, и пробил киркой щель в одной из створок двери. Госпожа де Мерэ поняла, что Розали передала Горанфло ее слова. И тогда все трое увидели мрачное смуглое лицо черноволосого человека с горящим взглядом. Прежде чем муж обернулся, несчастная женщина успела кивнуть ему, как бы говоря: «Надейтесь!»

В четыре часа утра, когда только еще стало светать (это было в сентябре), каменщик закончил работу; он остался под присмотром Жана, а господин де Мерэ лег спать в комнате жены. На следующее утро он беззаботно воскликнул:

— Ах, черт возьми! Мне надо пойти в мэрию за пропуском.

Он надел шляпу, пошел было к двери, но вернулся и захватил распятие. Жена вздрогнула от радости. «Он пойдет к Дювивье», — подумала она. Как только он вышел, она позвонила Розали.

— Кирку! Скорее кирку! — закричала она. — Я видела вчера, как работал Горанфло. Мы успеем пробить отверстие и вновь замуровать его.

В мгновение ока Розали принесла топорик, и госпожа де Мерэ с рвением, которое трудно вообразить, принялась разрушать каменную кладку. Ей уже удалось выбить несколько кирпичей, но когда она собиралась нанести еще один, самый сокрушительный удар, в комнату вдруг вошел господин де Мерэ. Она лишилась чувств.

— Положите графиню в постель, — холодно приказал муж.

Предвидя то, что должно произойти в его отсутствие, он расставил жене западню: мэру он просто-напросто написал записку, а за ювелиром — послал. Когда Дювивье пришел, в комнате все уже было приведено в порядок.

— Дювивье, — спросил его граф, — покупали вы распятия у испанцев, проходивших здесь?

— Нет, сударь.

— Хорошо, благодарю вас, — ответил он, бросив на жену взгляд, полный ненависти. — Жан, — добавил он, обратясь к доверенному слуге, — вы будете подавать мне еду в комнату графини, она больна, и я не оставлю ее, пока она не выздоровеет.

Жестокий человек в продолжение двадцати дней не покидал спальни жены.

В первое время, когда в замурованном чулане слышался шум, Жозефина порывалась броситься к мужу, чтобы умолить его сжалиться над умирающим, но граф отвечал, не давая ей вымолвить слова:

— Вы поклялись на распятии, что там никого нет.

Когда Бьяншон кончил, все женщины встали из-за стола, и это нарушило впечатление, произведенное рассказом. Все же некоторые из них испытали леденящий ужас от последних его слов.

Примечания

Входит в «Сцены частной жизни». Текст отчетливо подразделяется на отдельные фрагменты, которые (за исключением истории супругов Мерэ) были впервые объединены под названием «Второй силуэт женщины» в 1842 г., во втором томе «Человеческой комедии» в издании Фюрна, прежде же публиковались раздельно или входили в состав других произведений Бальзака.

1

Гозлан Леон (1803—1866) — французский литератор, знакомый Бальзака с 1833 г., автор мемуарных книг «Бальзак в домашних туфлях» (1856) и «Бальзак у себя дома. Воспоминания о Жарди» (1862), которые являются одним из основных источников сведений о частной жизни писателя, как достоверных, так и легендарных.

2

Крампада — имение четы де л'Эсторад (см. роман «Воспоминания двух юных жен»).

3

Госпожа де Портандюэр — урожденная Урсула Мируэ, героиня одноименного романа Бальзака.

4

Мадемуазель де Туш — персонаж четырнадцати произведений «Человеческой комедии», писательница, выступавшая в печати под псевдонимом Камилл Мопен.

5

...откровенные признания знаменитого де Марсе... — Если преамбула «Второго силуэта» восходит к «Беседе между одиннадцатью вечера и полуночью», опубликованной в 1832 г. в составе коллективного анонимного сборника «Коричневые рассказы», то сам рассказ де Марсе впервые появился в газете «Артист» 21 и 28 марта 1841 г. под названием «Сцена в будуаре».

6

...в известной басне... — Лафонтен. Басни, IV, 7.

7

Никогда еще меня так не пленяла сила... — Из дальнейшего выясняется, что повествование ведется от лица врача Ораса Бьяншона.

8

По словам Стерна... — «Я утверждаю, что образы фантазии небритого человека после одного бритья прихорашиваются и молодеют на семь лет...» (Стерн. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Т. 9. Гл. XIII).

9

Талейран -Перигор Шарль Морис де (1754—1838) — французский политический деятель, великий дипломат. Бальзак познакомился с ним в 1836 г.; устами Вотрена он отозвался о нем так: он «презирает человечество так глубоко, что плюет ему в лицо столько клятв, сколько оно требует, но во время Венского конгресса не допустил раздела Франции; его должны бы забросать венками, а вместо этого забрасывают грязью» (Бальзак /15. Т.3. С.102-103).

10

Меттерних Клеменс, князь (1773—1859) — австрийский государственный деятель, канцлер Австрии в 1821—1848 гг.

11

...бывший журналист... Эмиль Блонде... — Персонаж четырнадцати произведений «Человеческой комедии».

12

Кончини Кончино, маркиз д'Анкр (1575—1617) — итальянский авантюрист и политический деятель, добившийся большой власти при французском дворе благодаря покровительству королевы Марии Медичи, матери Людовика XIII, по чьему приказу он был убит 24 апреля 1617 г. Кардиналу Ришелье (1585—1642), будущему члену Королевского совета при Людовике XIII и реальному правителю Франции, было в это время 32 года. В романе «Утраченные иллюзии» (1837—1843) Бальзак устами Вотрена так комментирует этот эпизод: «Молодой честолюбец, священник, желает приобщиться к государственным делам; он низкопоклонничает перед фаворитом, фаворитом королевы; фаворит принимает участие в священнике, возводит его в звание министра, вводит в совет. Однажды вечером молодой честолюбец получает письмо, которым некий благодетель из породы людей, склонных оказывать услуги <...> извещает его о том, что жизнь его покровителя в опасности. Король взбешен, он не потерпит, чтобы им кто-то руководил, фаворит погибнет, как только явится поутру со дворец. <...> Наш молодчик сказал самому себе: «Ежели король решается на преступление, благодетель мой погиб: придется сделать вид, что письмо опоздало!» И он проспал до тех пор, покуда ему не сказали, что фаворита убили... <...> Человек этот был кардинал Ришелье, а его покровитель — маршал д'Анкр» (Бальзак /15. Т.6. С.600).

13

Питт — имя двух английских премьер-министров (отца и сына) второй половины XVIII — начала XIX веков.

14

Жозеф Бридо — имя вымышленного художника, персонажа пятнадцати произведений «Человеческой комедии».

15

Маркиз де Ронкероль — брат графини де Серизи, один из светских львов эпохи Реставрации, при Июльской монархии государственный деятель, персонаж двадцати одного произведения «Человеческой комедии».

16

...которого вы прислали мне из Англии... — Де Марсе приходился побочным сыном лорду Дэдлею, персонажу восьми произведений «Человеческой комедии».

17

Кларисса Гарлоу — героиня одноименного романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона (1747—1748); Бальзак читал его в юности в переводе А. Прево, а затем неоднократно возвращался к нему, размышляя об искусстве романа. Кларисса — добродетельная девица, которую родители принуждают к браку с нелюбимым, поддается на уговоры соблазнителя Ловласа и соглашается бежать с ним из отчего дома.

18

Малибран (наст. имя Мария де ла Фелисидад Гарсия; 1808—1836) — французская оперная певица испанского происхождения, с успехом выступавшая в Париже в 1830-х годах.

19

Хартия — закон, «пожалованный» Людовиком XVIII французам в июне 1814 г., в начале первой Реставрации Бурбонов; Хартия установила во Франции конституционную монархию; разумеется, государственное устройство Франции в эпоху Реставрации имело мало отношения к измене герцогини.

20

Лозен — известны два авантюриста и «дамских угодника», носившие это имя: Антуан Номпар де Комон, граф, затем герцог де Лозен (1633—1723), фаворит Людовика XIV, тайно женившийся на его кузине, герцогине де Монпансье, и Арман Луи де Гонто-Бирон, герцог де Лозен (1717—1793), герой многочисленных скандальных происшествий при французском дворе.

21

Людовик де Валуа — возможно, Бальзак обозначил этим малоупотребительным титулом одного из герцогов Орлеанских, которым со времен Людовика XIV принадлежало герцогство Валуа и которые отличались неумеренным сластолюбием.

22

Баронесса де Нусинген — одна из двух дочерей «отца Горио», действующая в семнадцати произведениях «Человеческой комедии»; ее «роман» с де Марсе описан в повести «Отец Горио» (1835).

23

Карл Десятый (1757—1838) — французский король в 1824—1830 гг., последний монарх из династии Бурбонов.

24

Даниэль д'Артез — писатель, действующее лицо двенадцати произведений «Человеческой комедии», в том числе романа «Тайны княгини де Кадиньян», где описана история его любви к аристократке Диане де Кадиньян.

25

Герцог Бурбонский (1756—1830), последний представитель рода Конде, погиб в 1830 г. при загадочных обстоятельствах, весьма напоминающих убийство, в котором подозревали его любовницу и наследницу, англичанку Софи Кларк, в первом браке Доу, во втором де Фешер.

26

Маркиза де Рошфид — Беатриса, героиня одноименного романа (1839), входящего в «Сцены частной жизни», персонаж восьми произведений «Человеческой комедии».

27

Монморанси — древнейший французский дворянский род.

28

Хорошо, я объясню вам это... — Монолог Блонде был впервые напечатан под названием «Светская женщина» в первом томе сборника «Французы, нарисованные ими самими» (1839).

...панталон... пенящейся вокруг щиколотки. — Мода на дамские панталоны, выступающие из-под платья, пришла во Францию из Англии в середине 1800-х гг.

Прюнель — «плотная и тонкая ткань саржевого переплетения, использовавшаяся для изготовления мужской и женской обуви. <...> Прюнелевую обувь носили самые элегантные женщины» (Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. М., 1989. С. 190 — 191).

...рисунок походки... — В 1833 г. Бальзак опубликовал трактат «Теория походки», который впоследствии намеревался включить в раздел «Человеческой комедии», озаглавленный «Патология общественной жизни», где, исходя из постулата: «Походка есть лицо тела», описывал способы познать характер и общественное положение человека по тому, как он ходит, говорит, смотрит, дышит.

...до мыса Мадлен... — то есть до церкви Мадлен (Магдалины) — церковь в Париже, начатая в 1763 г. и оконченная лишь в 1840 г.

...по террасе Фельянов... — то есть по террасе сада Тюильри, названной так в память о находившемся здесь до 1804 г. монастыре Фельянов (он был разрушен при прокладке вдоль сада Тюильри улицы Риволи).

...лоскутки всех сотканых ныне разношерстных доктрин. — В том числе и теорий самого

Бальзака в 1830—1840-е гг., когда он сделался монархистом и католиком.

35

...не нападайте на Наполеона! — Похвальное слово Наполеону впервые было напечатано в 1832 г. в «Беседе между одиннадцатью вечера и полночью».

36

Каналис — великий, но бездушный поэт, прототипом которого иногда называют Ламартина, хотя более вероятно кандидатура Альфреда де Виньи; впервые был выведен Бальзаком в повести «Первые шаги в жизни» (1842), затем появилась «Модеста Миньон» (1844), где Каналис — один из главных героев, и уже после этого Бальзак ввел его имя во многие романы, написанные прежде, в том числе и в «Воспоминания двух юных жен» (в общей сложности он упоминается в восемнадцати произведениях «Человеческой комедии»).

37

Поццо ди Борго Шарль Андре, граф (1768—1842) — дипломат корсиканского происхождения, поступивший на службу к русскому императору; посол России во Франции в 1814—1835 гг., Поццо ди Борго был одним из главных советников Александра I во время войны с Наполеоном; Меттерних руководил политикой Австрии, союзницы России в войне с Францией, а Талейран, при Империи занимавший важнейшие государственные посты, но с 1809 г. впавший в немилость, предчувствуя поражение Наполеона, перешел на сторону его противников.

38

...заключил в себе Дезэ и Фуше. — Дезэ де Вейгу Луи Шарль Антуан (1768—1800) — французский полководец, погибший в битве при Маренго (14 июня 1800), где французские войска под командованием Бонапарта сражались с австрийскими; Фуше Жозеф (1759—1820) — во время Революции ярый сторонник революционных идей, член Конвента и активный участник Террора; при Империи министр полиции; после окончательного поражения Наполеона перешел на сторону Бурбонов и стал министром полиции при Людовике XVIII. Дезэ упомянут как воплощение деятельной честности. Фуше — как воплощение интеллектуальной бесчестности.

39

Сорель Агнеса (ок. 1422—1450) — фаворитка французского короля Карла VII, вдохновлявшая его на борьбу с англичанами.

40

Мари Анна

Дубле де Персан (1687—1771) и Мари

дю Деффан (1697—1780) были хозяйками двух знаменитых парижских салонов XVIII века; роялистка княгиня де Кадиньян упрекает этих дам в причиненном ими зле, так как их салоны (в особенности салон госпожи дю Деффан) были местом сбора энциклопедистов-просветителей, своими теориями подготовивших французскую Революцию.

41

Мария Тальони (1804—1884) и

Камарго (наст. имя и фам. Мария Анна Куппи; 1710—1770) — французские танцовщицы.

42

Сент-Юберти Мария Антуанетта (1756—1812) — французская певица.

43

Рекамье Жанна Франсуаза Жюли Аделаида (1777—1849) — знаменитая своей красотой хозяйка литературного салона в Аббей-о-Буа.

44

Севинье Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де (1626—1696) — знатная дама, вошедшая в историю литературы как сочинительница блестящих по стилю писем.

45

...произнес генерал де Монриво... — Генерал Монриво — персонаж двенадцати произведений «Человеческой комедии», главный герой повести «Герцогиня де Ланже» (1833, затем в составе «Истории тринадцати»). Рассказ генерала Монриво, прежде чем занять свое место в составе «Второго силуэта женщины», был опубликован в «Беседе между одиннадцатью вечера и полночью», а затем, под названием «Любовница нашего полковника», — в журнале «Наполеон» (1834, выпуск 10).

46

Когда мы подошли к Березине... — В конце ноября 1812 г., во время панического отступления французов из России.

47

...полковника Удэ, изображенного Шарлем Нодье... — в «Истории тайных обществ в армии» (1815), где французский писатель Шарль Нодье (1780—1844) рисует портрет барона Жака Жозефа Удэ (1773—1809), человека разнообразных талантов («Он мог быть поэтом, оратором, стратегом, государственным мужем»), члена антинаполеоновского монархического тайного общества «Филадельфы», погибшего в сражении при Ваграме. В «Трактате об элегантной жизни» (1830) Бальзак, также ссылаясь на Нодье, называет Удэ воплощением «божественного изящества, никогда не бывающего неуместным».

48

Принц Евгений — Евгений Богарне (1781—1824), сын императрицы Жозефины от первого брака, участник итальянской, египетской и русской кампании Наполеона, с 1804 г. генерал, с 1805-го — принц и вице-король Италии.

49

Редгонтлет — заглавный герой романа В. Скотта (1824, т. 1 — 3).

50

Орсэ Жан Франсуа Альбер Мари Гаспар Гримо, барон д' (1772—1843) — французский военный, знаменитый своими манерами и костюмами, один из первых французских «денди».

51

Смеешься? (
ит.)

52

Это я! (
ит.)

53

Об этом может нам рассказать господин Бьяншон... — фрагмент, посвященный смерти герцогини, впервые был опубликован, как и почти все предыдущие части «Второго силуэта», в «Беседе между одиннадцатью вечера и полночью».

54

...по словам Шамфора... — «Однажды молодые придворные ужинали у г-на де Конфлана. Кто-то спел вольную, но лишённую откровенных непристойностей песенку; г-н де Фронсак немедля затянул куплеты до такой степени бесстыдные, что даже веселые собутыльники слегка удивились. Г-н де Конфлан прервал всеобщее молчание словами: «Черт подери, Фронсак! Между твоей песней и предыдущей — не меньше десяти бутылок шампанского». Бальзак ссылается на «Характеры и анекдоты» (№ 740) Себастьяна Роша Никола Шамфора (1740—1795); возможно, книгой-посредницей послужило в данном случае сочинение Стендаля «О любви», где мысль Шамфора цитируется в сходном контексте (см.: Стендаль. О любви. Новеллы. М., 1989. С. 69).

55

Шагах в ста от Вандома... — Следующая далее новелла «Второго силуэта» была впервые опубликована в мае 1832 г. во втором издании «Сцен частной жизни» в составе рассказа «Совет» (вместе с рассказом «Поручение»); затем под названием «Гранд-Бретеш, или Три мщения» (вместе с двумя новеллами из сборника «Коричневые рассказы») вошла в 7-й том «Этюдов о нравах XIX века» (1837) и наконец была напечатана отдельно под названием «Гранд-Бретеш» в 4-м томе «Человеческой комедии» в издании Фюрна (1845). Согласно рукописной правке Бальзака на его экземпляре этого издания, «Гранд-Бретеш» следовало присоединить ко «Второму силуэту», что и делается в современных изданиях. Исследователи

не раз пытались установить источник «Гранд-Бретеш»; в этой связи были названы 32-я новелла из «Гептамерона» (1559) Маргариты Наваррской, комическая опера Э. Скриба и Ж. Делавиня «Каменщик» (1825), подлинная история о ревнивом муже из Безансона, замуровавшем живым некоего итальянца Занолли, история семейства делла Пьетра, рассказанная Стендалем в книге «О любви» (глава XXVIII). Само название Гранд-Бретеш носила местность в окрестностях Тура, хорошо известная Бальзаку, как и Вандом — город, в котором он учился в коллеже (1807—1814) и который сделал местом действия рассказа, вложенного в уста Бьяншона.

56

Думай о смертном часе (лат.).

57

Деплен — знаменитый хирург, учитель Бьяншона, действует в пятнадцати произведениях «Человеческой комедии».

58

Дом Атридов — то есть потомков Атрея (греч. миф), сына Пелопа, над родом которого тяготело проклятие.

59

...дядюшка Тоби... на своего боевого коня. — Взгляды Стерна на «коньков» вообще и, в частности, на любимого конька дядюшки Тоби, изложены в главе XXIV первого тома романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

60

Роген — парижский нотариус, персонаж десяти произведений «Человеческой комедии», играет особенно большую роль в романе «История величия и падения Цезаря Бирото» (1837).

61

«Подражание Христу» — анонимный религиозный трактат, получивший распространение около 1418 г. и очень популярный среди верующих; наиболее вероятным автором его считается Фома Кемпийский (ок. 1380—1471).

62

Радклиф Анна (урожд. Уорд; 1764—1823) — английская писательница, автор «готических» романов, в которых большую роль играют тайны и ужасные происшествия.

63

Фередиа — слегка искаженное имя любовника матери Бальзака, Фердинанда Эредиа, графа Прадо-Кастеллана, испанского офицера, познакомившегося с госпожой Бальзак около 1805 г. в Турени.

64

...пять футов с небольшим... — то есть около 1 м 65 см.

65

Бертран Анри Грасьен, граф (1773—1844) — французский военачальник, участвовавший во многих сражениях эпохи Империи.

66

Герцог д'Абрантес — Андош Жюно (1771—1813) — наполеоновский генерал; его жена, Лора Пермон (1784—1838), была доброй знакомой и — во второй половине 1820-х гг. — возлюбленной Бальзака.

67

Деказ Эли, герцог (1780—1860) — французский государственный деятель, глава правительства в 1818—1820 гг., пэр Франции.

68

Король испанский — Фердинанд VII.

69

Горанфло — фамилия реального лица, клерка в конторе юриста Ж.-Б. Гийоне-Мервиля, в которой юный Бальзак служил, также в качестве клерка, в 1816—1818 годах.